ТОВАРИЩ СТАЛИН

Лео Яковлев

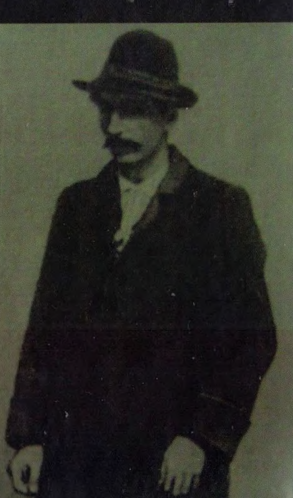
Лео Яковлев

ТОВАРИЩ СТАЛИН:

роман
с охранительными ведомствами
Его Императорского Величества







Лео Яковлев

ТОВАРИЩ СТАЛИН:

роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества



ХАРЬКОВ
2010

ББК84-44
Я47

Яковлев Лео

Я47 Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества. – Харьков: «Издательство САГА», 2010. – 212 с.
ISBN 978-617-575-007.

В романе, предлагаемом вниманию читателя, два «главных действующих лица»: И. В. Сталин и автор. Первое — Иосиф Сталин — вряд ли нуждается в особом представлении, так как и сегодня, спустя более полувека после его кончины, на просторах некогда созданной им Империи, просуществовавшей до 1991 года, найдется, надо полагать, не так много людей, которым это имя незнакомо, хотя с годами число таковых, возможно, будет возрастать, поскольку область забвения беспредельна.

Второе действующее лицо – Лео Яковлев — писатель, живущий в Харькове, работающий в том числе в биографическом жанре. Его авторская справка размещена на последней странице обложки. Тексты многих написанных им книг выложены его читателями на десятках различных сайтов в Интернете, что принесло ему мировую известность.

В эту книгу также включены два очерка, посвященные роли Сталина в судьбах двух его великих современников – писателя Михаила Булгакова и историка Евгения Тарле.

ББК84-44

ISBN 978-617-575-007.

Ныне, о Муза, воспой Джугашвили, сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело,
Нарезавши тысячи тысяч петель,
насилием к власти пробрался.
Но что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне,
семинарист неразумный!..

Павел Васильев

(Убит в возрасте 27 лет в ночь с 15 на 16 июля 1937 г. Имена убийц известны: Иосиф Сталин, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Андрей Жданов, Анастас Микоян. Подписи этих «товарищей» сохранились на расстрельном списке)

Все мы были мерзавцами.

Анастас Микоян

В жизни и не такое бывает, товарищи.

Иосиф Сталин

Чем больше думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю.

Илья Эренбург

Часть первая

Роман-воспоминание



Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от «дней свободы» —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

Александр Блок

ГЛАВА I.
С последнего взгляда

Я носил в себе эту книгу несколько месяцев: ее идея появилась в то время, когда я вдруг возвратился к научному творчеству, и ей пришлось ждать, пока я поставлю последнюю точку в последней из намеченных мной научных статей. Но когда я поставил эту точку в своей рукописи, мне захотелось посмотреть несколько давних работ по этой своей тематике, поскольку, зная по собственному опыту справедливость затасканной поговорки, что все новое — хорошо забытое старое, я испугался, что всё, что на сей раз я хочу поведать «научной общественности», уже было кем-нибудь сказано ранее.

Среди ученых книг, просмотром которых я хотел завершить свои труды, была монография Николая Ивановича Безухова «Теория упругости и пластичности». Имя Н. И. Безухова сейчас не найти в энциклопедических справочниках, да и в нынешних «ученых кругах» мало кто его вспоминает, но в годы моего ученичества — более полувека назад — это был весьма известный и уважаемый профессор, плодотворно работавший в области прикладной механики.

Листая его книгу, я, хвала Всевышнему, не нашел ничего порочащего новизну моих взглядов на некоторые сущности, но обратил внимание на то, что имя великого ученого — отца инженерной школы Соединенных Штатов Америки — Степана Прокофьевича Тимошенко, впервые в мире сформировавшего теорию упругости как самостоятельную дисциплину в пограничной области классической физики и технической механики, в книге Н. И. Безухова упоминается лишь один раз, и то вскользь и мелким шрифтом (хотя С. П. Тимошенко был некогда избран иностранным членом-корреспондентом Академии наук СССР), а имя товарища Сталина в этом сугубо специальном научном сочинении встречается трижды и, конечно, «во весь рост» и рядом с цитатами из бессмертных произведений вождя народов и большого ученого — «Марксизм и вопросы языкознания» и «О диалектическом и историческом материализме».

Мне, естественно, захотелось узнать, когда же была опубликована книга Н. И. Безухова, и в положенном месте я обнаружил интересовавшую меня дату: «подписано к печати 28.II.1953 г.», дату, вызвавшую во мне волну воспоминаний.

Конец февраля 1953 года многочисленными исследователями жизни и творчества вождя народов был, можно сказать, разобран по минутам, и теперь всем известно, что в пятницу, 27 февраля, он побывал на «Лебедином озере» (во второй половине XX века этот вполне безобидный балет Чайковского стал почему-то в России предвестником судьбоносных событий в истории этой страны), а в субботу вечером, когда опус Безухова уже был подписан в печать (суббота в рабоче-крестьянском государстве в те времена завершала 48-часовую трудовую неделю), вождь прибыл в Кремль посмотреть какую-то киношку. Затем были ночной банкет на кунцевской даче и хмурое утро 1-го марта (тоже тяжелая дата для российского самодержавия), означавшее начало конца. Таким образом, можно точно утверждать, что теорией упругости и пластичности вождь в эти дни не занимался.

Меня же обнаруженная мною дата на книге Н. И. Безухова вернула в далекое прошлое.

Для суфия, каковым я являюсь, преодоление пространства и времени — дело обычное, хотя и не такое легкое, как для «покорявшего пространство и время» молодого советского «хозяина Земли». (Здесь вспоминается известная бравурная советская песенка.) Тем не менее, я, не перенапрягая свою память, относительно легко «соскользнул» по шкале времен в далекие тридцатые годы минувшего века и начал оттуда свое восхождение к сегодняшним дням.

Даль моего относительно свободного романа с этой жизнью начиналась в двухэтажном доме на шесть коммунальных квартир с «удобствами во дворе» и водопроводом в виде разборной колонки на далеком углу немощеной улицы на окраине большого индустриального города. Мое довоенное детство проходило в саду при этом доме. Там росли вишни, сливы, груши, яблони, некогда заботливо высаженные неизвестным мне бывшим хозяином этого дома, исчезнувшим в вихрях революций лет за десять до моего появления на свет. В нашем квартале было лишь два двухэтажных дома, а остальное жилье состояло из одноэтажных домиков окнами на улицу, каждый из которых имел свой двор и сад, огражденный высоким забором и охраняемый «злой собакой», чей портрет красовался на входной калитке рядом со звонком или каким-нибудь другим сигнальным приспособлением. Одноэтажные дома и всё то, что в них происходило, были закрыты для постороннего взгляда и становились более доступными лишь в дни свадеб и похорон. Остальные даты здесь игнорировались, и лишь в дни государственных праздников их хозяева молча втыкали красные флаги в положенные места, и улица несколько прихорашивалась.

Моя обитель была не столь надежно изолирована от внешнего мира, но чужие там тоже не ходили, если не считать нищих и нищенок, точильщика со своим станком на плечах, старьевщиков, скупающих ненужное барахло, почтальона и редких «официальных» гостей в положительном смысле этого слова. Наш общественный сад тоже был отгорожен от мира, правда, усилиями соседей, оберегавших свой фруктовый урожай, а не жильцов нашего дома. Строителям коммунизма в те годы предместье большого города казалось своего рода Вандеей, а Человек Предместья был тайным или явным врагом. Они мечтали о городах без предместий, городах будущего, парящих над степью своими многоэтажками, прямо к подножию которых подходят луга, леса и белые снеги. Мне в своей долгой жизни выпало на долю быть причастным к созданию двух таких городов «на пустом месте», но это было потом, а тогда, в далекие тридцатые, я был Человеком Предместья, правда, еще очень маленьким человеком, коротавшим свои дни в фруктовом саду, наблюдая цветение, созревание плодов, осенние листопады и волнующее появление первых зеленых побегов, раздвигающих прошлогоднюю листву и знаменующих неизбежность весны.

«Не доносятся жизни проклятья в этот сад, обнесенный стеной». Свидетельствую — действительно не доносились. Где-то

там внизу, в большом городе, по ночам носились «маруси» и «воронки» в поисках «врагов народа». Сюда же не доходили «кровавые сапоги» и (пока еще) не шелестели по пожухлой уличной траве «шины черных марусь». Здесь всё казалось настолько убогим, что не было места для вечного двигателя коммунистического сознания — стремления отнять и поделить, а в Городе они были — там были завидные должности, благоустроенные квартиры, персональные автомобили — всё то, на что с вожделением смотрел советский человек — человек нового типа, о котором мы еще непременно поговорим, а пока вернемся к вождю народов.

Впервые Сталин возник в моем замкнутом мире в качестве паровоза. Дело в том, что относительно недалеко от дома, во дворе которого проходило мое детство, был небольшой (правда, тогда мне он казался огромным) парк, размещавшийся на территории, подаренной городу богатым купцом и местным летописцем Карповым, и потому именовавшийся Карповским садом. Сад размещался на склоне Холодной горы и обрывался над Южной железной дорогой. Я, как и Рей Бредбери, в детстве любил железные дороги, видимо, предчувствуя, что мне предстоит отмотать по ним многие десятки тысяч километров. (И, несмотря на это, я их до сих пор люблю.) А в те времена, когда у отца бывало свободное время, мы шли в Карповский сад, выходили на невысокий обрыв над путями и наблюдали движение поездов. Вот там мне впервые и явился вождь в облике мощного паровоза «ИС» — «Иосиф Сталин». Были еще паровозы «ФД» («Феликс Дзержинский») и «СО» («Серго Орджоникидзе»), но я, помню, всегда отдавал предпочтение «Иосифу Сталину», видимо, предчувствуя, какую роль живой и мертвый носитель этого имени еще сыграет в моей жизни.

Ну а о том, что Он существует не только в виде паровоза, но и в живом облике, я узнал из песен, долетавших в соловьиный сад моего детства:

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...

Поскольку товарищ Сталин тогда еще не был генералиссимусом, то в бой он нас только пошлет, а уже поведет нас, судя по этой песне, кто-нибудь из маршалов: то ли Ворошилов, то ли Тимошенко, то ли вообще какой-то «первый маршал». (Слушая эту боевую индейскую песню, я не мог еще знать, сколь близко она меня касается: через несколько лет моему отцу предстояло погибнуть в Харьковском котле, созданном раболепными усилиями

одного из вышеназванных дебилов, не имевших представления о военной науке даже на уровне восьмиклассника средней школы, внимательно рассмотревшего в своем учебнике классическую схему битвы Тимура с Баязетом.)

Мой отец был «чистым технарем», не занимавшимся политикой и не интересовавшимся ею. Престижной должности он не занимал, благоустроенной квартиры не получил и потому не представлял интереса для местных охотников за «врагами народа». Техническая литература того времени еще не требовала упоминаний о гениях всех времен и народов: можно было обойтись ссылками на семейство Бернулли, и в нашем доме не было ни единого из бессмертных сочинений вождя, даже знаменитого «Краткого курса». Не было ни его портретов, ни даже фотографий. Усатый портрет я впервые увидел, когда, держась за руку матери, покинул пределы нашей улицы, чтобы у «царапкопа» («центральный рабочий кооператив») принять личное участие в очереди за сливочным маслом, выдававшимся по двести граммов «на душу» или «в одни руки» очередника в связи с продовольственной помощью другу Адольфу Гитлеру и его бедной голодной Германии, постепенно захватывающей всю Европу.

Впрочем, у пакта Молотова—Риббентропа были и более благоприятные для меня последствия: как и многие мои сверстники, я собирал «фантики» — обертки от конфет с разными «мишками» и другими рисунками. Советский выбор этих вожделенных бумажек был весьма ограниченным, и поэтому, когда мой отец из очередной командировки в Москву или Питер привез появившиеся там в продаже конфеты, произведенные в добровольно вошедших в Советский Союз Латвии и Литве, я как коллекционер фантиков оставил далеко позади всех своих соперников.

Внутрисемейных довоенных разговоров о товарище Сталине я тоже не припоминаю, газеты отец читал на работе, а когда у нас появился радиоприемник «СИ», он стал слушать только английские передачи: немецкий был для него вторым родным языком, французский он знал с детства и теперь хотел поднатореть в английском, становившемся в те годы международным инженерным языком. Не по его вине всё это для него оказалось ненужным.

Война внесла в мою жизнь свои изменения, и товарищ Сталин ко мне приблизился. Я стал читать газеты, где он в разных видах постоянно присутствовал. Его имя своим неповторимым голосом, несущимся из развешанных на столбах громкоговорителей-«тарелок», скандировал Левитан. Его портреты во весь рост, в военной форме, в начищенных сапогах, появились на внешних и

внутренних стенах всех учреждений и общественных мест. Даже в общедоступных столовых того времени с их скудным меню, что дало повод кому-то из поэтов, кажется, Назыму Хикмету, создать, конечно, посмертный, поэтический образ генералиссимуса, чьи блестящие сапоги, находящиеся на уровне тарелки при портрете на всю стену, оказываются в нашем жиденьком постном супе. В общем вождь круглосуточно был со мной рядом, но в каком-то ином недоступном мне мире, и поэтому как человека я его не рассматривал.

Так было до 1947 года, когда в мой мир вошла Москва. Бывал я в сей столице примерно раз в году по месяцу, но общаться мне приходилось с людьми, для которых Хозяин был реальной личностью, а не портретно-газетно-плакатным существом. Не был он для них и пугалом, хотя поминали его очень сдержанно, стараясь при этом выполнять завет Корана — не быть небрежным. И все же многое я у них узнал: помогали даже недомолвки. Из услышанного складывался образ, от растлевающего влияния которого меня оберегал суфийский склад моей души, не позволявший мне никого из смертных считать выше себя в этом мире, поскольку в моем сердце постоянно обитал и обитает поныне Тот, выше Которого никто во Вселенной быть не может. Когда нет страха, видишь лучше и начинаешь различать контуры Добра и Зла.

Добро и Зло в мире уживаются рядом. Возможно, они даже необходимы друг другу, создавая базу для нравственных оценок. Ростки Добра непреодолимы. И как зеленые побеги, не говоря уже о мощных корнях, пробивают бетон и асфальт, так и тонкие стебли Добра теснят, казалось бы, беспросветные глыбы Зла. Эта борьба идет и в душах людей, и во Вселенной. Я уверен, и известны случаи, когда Добро в душе Сталина выходило победителем. Но со временем таких случаев становилось всё меньше: терявший разум вождь становился добычей Зла, и наказанием за это Зло стали для него позорные последние годы.

В моих оценках последних лет жизни Сталина нет ничего личного, хотя почти все его мерзости в той или иной степени касались еврейского племени. Переписывание всего мирового научно-технического прогресса на «достижения русского ума» (хотя учитель нашего вождя — вечно живой Ильич — в задушевной беседе с великим пролетарским писателем говаривал: «Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови»), борьба с «космополитами», уничтожение генетиков, объявление «лженаукой» созданной Винером и его школой новой отрасли знания — кибернетики — и прочие «подвиги» потерявшего свой

разум марксиста, подготовившие условия для «великих открытий» типа «зарождения жизни» в грязной колбе — всё это были не просто смешные для мыслящего человека случайные происшествия. Это были прорывы в невежество, заложившие фундамент отрицательного отбора и вытеснения специалистов сначала из науки и техники, а потом и из страны.

В бумагах Пушкина, как известно, сохранился набросок, посвященный личности и судьбе Екатерины Великой:

Мне жаль великия жены,
Жены, которая любила
Все роды славы: дым войны
И дым парнасского кадила.
Мы Прагой ей одолжены,
И просвещеньем, и Тавридой,
И посрамлением Луны,
И мы... прозвать должны
Ее Минервой, Аонидой.
В аллеях Сарского села
Она с Державиным, с Орловым
Беседы мудрые вела —
С Делиньем,— иногда с Барковым.
Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была.
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.
С тех пор ... мгла.
Россия, бедная держава,
Твоя удавленная слава
С Екатериной умерла.

Я привел эти неограненные строки полностью, чтобы можно было оценить сходство судеб и образов, и гендерная сущность прототипа здесь особого значения не имеет, поскольку есть и «все роды славы», и любовь к «дыму войны», и поэтические опыты «у парнасского кадила», и территориальные завоевания, и умные беседы с отечественными и зарубежными интеллектуалами, и «наказы»-приказы-постановления, и блуд, коего мы, может быть, еще коснемся, и даже смерть «садясь на судно», до которого наш вождь так и не успел добежать (успела ли добежать матушка-императрица?), и есть некоторая, немалая часть

советского народа (об этой «части народа» будет идти речь в следующей главе), считающая, что слава России была удавлена и умерла вместе с вождем.

Мне в 53-м тоже было жаль «великого мужа», хотя я отлично понимал, что его уход после и без того затянувшейся на годы агонии был на благо не только еврейским врачам и прочим евреям, собиравшим уже свои бебехи, чтобы грузиться в теплушки, но и всему человечеству, ибо никому не дано было знать, что натворит сумасшедший старик с ядерным оружием в трясущихся руках. Это похуже, чем обезьяна с гранатой. Но я помнил, как Иван Майский еще до того, как ему нашли во внутренней тюрьме Лубянки время и место для написания мемуаров, рассказывал при мне о том, как Сталин перед встречей с англичанами, когда немцы еще были не так далеко от Москвы, дал ему, Майскому, листок (мне почему-то запомнилось, что листок был из школьной тетрадки) с предложениями по послевоенному переустройству Европы. Это был ход великого, мужественного и уверенного в себе человека. И этого человека время и болезни превратили в борца с «безродными космополитами» и мракобеса!

Но вот его начищенные сапоги исчезли из нашего супа, на стенах появились портреты других правителей и вельмож. Пришло время сравнивать. На одной из «встреч» времен «перестройки» я спросил освободившегося из идеологических застенков Бориса Чичибабина:

— Вот вам пришлось испытать преследования и при сталинском, и при послесталинском режимах. Какой же из этих режимов был страшнее?

Ответ на этот вопрос был у поэта, по-видимому, готов давно, потому что он не задумываясь сказал, что режим «развитого социализма» был для него более тяжелым, и подкрепил свою мысль словами Некрасова:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Конечно, на сталинские времена пришлась его молодость с присущими этой поре жизни радостями и надеждами, но было, вероятно, и что-то, эти надежды питавшее. Что это было, мне определить невозможно, так как мои собственные надежды находились и находятся по сей день далеко за пределами этого мира, и поэтому я мог относительно беспристрастно сопоставить масштабы личностей Сталина и последовавших за ним правителей

страны, в которой мне пришлось жить, и сравнение, как ни странно, было в пользу вождя народов. Не повлияли на мои выводы ни последующие разоблачения, ни последующие восхваления: Сталин становился всё страшнее и страшнее, но, даже теряя человеческие черты, он оставался значительнее и интереснее как личность, чем те полулюди, что пришли ему на смену.

Таково мое мнение, и вряд ли оно когда-нибудь изменится, да и времени на какие-либо изменения у меня уже не осталось.

ГЛАВА II.
Бастионы совкового патриотизма

В первой трети XX века на планете Земля, на одной шестой части ее суши возник удивительный живой организм, получивший название «советский человек». Создатели этого не вполне одушевленного феномена, трудясь под неусыпным руководством Великого Селекционера разумной живности, более четверти столетия потратили на очистку своей продукции от вредных примесей. В этом длительном процессе очистки поначалу были уничтожены одушевленные «пережитки» — нэпманы, кулаки, старая ненужная интеллигенция. На этом первом этапе уничтожения в таком увлекательном процессе участвовала вся активная масса строителей нового мира, где кто был ранее никем, должен был стать всем. Затем пришло время разобраться с самой этой активной массой, поскольку в ее чреве также оказались вредные примеси — центристы, экономисты, левые уклонисты, правые уклонисты, замаскировавшиеся меньшевики, эсеры, анархисты и прочая более мелкая сволочь. На эту стадию очистки ушли все тридцатые годы.

Планам тотальной очистки существенно поспособствовала Вторая мировая война. Существует неоспоримая истина: на войне погибают лучшие, а лучшие создателям феномена под названием «советский человек» не только не были нужны, но даже могли активно или пассивно (самим своим существованием) мешать благородному делу. Поэтому, чтобы не ошибиться, творцы нового человека после войны ввели в действие дополнительные очистительные фильтры, как в виде добрых старых

концлагерей, пополнившихся недавними офицерами и солдатами, подпавшими под растленное влияние Запада, подобно декабристам в европейском походе, так и в виде качественно новых процессов против уже упоминавшихся «безродных космополитов», театральных критиков-рабиновичей, потрясавших основы державы, вейсманистов-морганистов-менделистов, врачей-отравителей, генетиков и кибернетиков. Этот благотворный процесс был несколько замедлен и преображен (выродившись в травлю Пастернака) после кончины Иосифа Виссарионовича, но свои положительные результаты он все же дал и формирование «советского человека» можно было в значительной мере считать завершенным.

Справедливости ради следует отметить, что под советскую селекцию на ее первом этапе не подводились умные научные теории вроде ученых разработок австрияка-недочеловека и друга животных — известного нациста Конрада Лоренца (Нобелевский лауреат 1973 года!), предлагавшего любимому земляку-фюреру свои разработки по специальным приемам «устранения неполноценных элементов человеческой популяции». Тем более что, как уже было сказано, «в советской практике чаще всего устранялись именно «полноценные элементы» по уровню интеллекта. (К слову: поражает постнюрнбергская житейская успешность австрийских нацистов: ученый людоед Конрад Лоренц получил Нобелевскую премию, просвещенный подонок-гитлеровец Курт Вальдхайм многие годы возглавлял ООН, и только их кумиру Гитлеру не повезло. Что-то необычное, по-видимому, было в самом венском воздухе. Но к славному городу Вене мы еще вернемся в одной из следующих глав этого романа.)

Конечно, химикам, ботаникам и прочим яйцеголовым хорошо известно, что стопроцентной очистки в природе не бывает. В данном случае тоже: оставалась некоторая часть «хомосапиенсов», которых «советскими людьми» можно было назвать лишь в геополитическом смысле, то есть, говоря канцелярским языком, «по месту жительства», но они погоды не делали. Основная масса населения представляла собой психологически завершенных «советских людей», вполне пригодных для новой жизни. Более того, эта масса стала воспроизводить сама себя, самочинно изгоняя случайно получающихся отщепенцев (в семье-то не без урода). Надзор вождей за развитием и поведением этой массы всё же был необходим, и для этого еще в начале тридцатых годов исправили ошибку отцов-фундаторов будущего нового мира: чтобы кто-то мог быть равнее среди равных, ввели внутри массы четкие

национальные разграничения взамен религиозных, существовавших при старом режиме.

Для краткого обозначения психологически завершенных «советских людей» в обиходе появилось емкое слово «совок». Его происхождение неизвестно; case is mist, как говорят американские судьи. Некоторые утверждают, что это самоназвание расы психологически завершенных «советских людей», но я этому не верю, потому что мне не приходилось встречать совка, который восклицал бы с гордостью: «Я — совок!». Читайте, мол, и завидуйте! Скорее всего, это выдумка злопыхателей, но слово существует, и его использование не противоречит современным тенденциям развития русского языка.

Многие считают, что совок есть дитя определенной эпохи и исчезнет с исчезновением этой эпохи. Не тут-то было! Эпоха сооружения коммунизма в отдельно взятой (кем взятой?) стране, она же эпоха развитого социализма, она же эпоха застоя, бесславно завершилась, не достигнув заявленных целей, но когда улеглись шум и пыль, поднятые этим событием, совок восстал из праха и, отряхнув этот прах со своих ног, стал при людях ностальгировать по светлому прошлому в духе старинной одесской народной песни:

Ой, мамочка, роди меня обратно.

Смена поколений, уже происшедшая с тех времен, когда у совка была великая эпоха, показала, что совок не утратил своей бесценной способности к самовоспроизводству и потому он если даже не вечен, то во всяком случае весьма долговременен.

Нынешний совок, старомодный или продвинутый, как и педераст, бывает активным и пассивным. Пассивный совок в основном предается ностальгии по ушедшей эпохе в быту и в личной жизни. Так, например, один из них, сидя под тентом на яхте своего сына-миллионера, бороздящей волны Эгейского моря, с болью в сердце рассказывал мне, каким он «тогда» был большим человеком, а именно — заместителем директора по строительству на одном из заводов средней руки, как его ценили и однажды даже «включили» в делегацию, ехавшую на переговоры в Венгрию. Всё это мне живо напомнило одну из многочисленных притч о Рабиновиче:

Рабинович пришел на фабрику имени Клары Цеткин, чтобы предложить свои услуги в качестве снабженца. Директор фабрики побеседовал с ним и, убедившись в его высоких

снабженческих качествах, созвонился с горкомом партии и выплакал разрешение, ввиду плачевного экономического положения предприятия, принять на работу еврея в качестве своего заместителя по снабжению.

Вытерев пот после такого сложного разговора, он сказал Рабиновичу:

— Всё в порядке. Пишите заявление.

Рабинович замялся и потом признался, что он не умеет писать. Огорченный директор лишь развел руками.

Десять лет спустя возле ювелирного магазина в Балтиморе останавливается лимузин и из него выходит всё тот же Рабинович, чтобы купить подарки жене и дочке. Когда продавщица упаковала все отобранные коробочки, потянувшие тысяч на восемьдесят баксов, Рабинович открыл кейс и стал отсчитывать кеш.

— О сэр, вы же могли бы выписать чек!

— Милая, если бы я умел писать, то я бы сейчас был вице-директором фабрики имени Клары Цеткин! — с достоинством и тоской по несбывшимся мечтам ответил Рабинович.

Это — образец бытовой ностальгии, по законам жанра, естественно, доведенный до абсурда.

Активный же совок не тратит душевные силы на личные переживания. Пользуясь некогда раскритикованной им в былые времена, как буржуазная уловка, свободой средств массовой информации, он во весь голос отстаивает нетленные для него совковые ценности. За время разгула свободной (буржуазной, конечно) прессы, он, совок, построил немало совковых крепостей и теперь отважно сражается на их бастионах, воплощая сталинский принцип «ни шагу назад».

Для примера помянем здесь несколько таких непреодолимых бастионов, в той или иной степени защищающих посмертную репутацию вождя народов.

Бастион первый, защищающий вождя народов от обвинений в неоправданных, как считает совок, человеческих потерях. «Всё это вранье,— утверждает совок.— Вот имярек пишет, что правление Сталина обошлось народу в 46 млн жизней, а на самом деле погибло *всего* (!!!) 26 млн». Конечно, нормальному человеку, для которого жизнь законна и бесценна, поскольку она есть дар Всевышнего, даже одна безвинная смерть — это очень много, рассуждения совка представляются чудовищными, но для совка главное — сказать, как для Рабиновича из анекдота, сообщившего пастве, что у раввина дочка — блядь, а то, что у раввина вообще не было дочери — это уже мелкие детали.

Бастион второй — на нем противостоят украинскому голодомору. Совок-горлохват из числа журналистской и думской сволочи кричит по этому поводу, что голодомор был не только на Украине. Но разве попытка почтить память погибших от голода в Украине препятствует совкам так же вспомнить о погибших от голода в Поволжье и на Кубани? Это уже напоминает борьбу совков «за солдата» в Эстонии. Совок делает вид, что он не понимает, что не место захоронению и памятнику на троллейбусной остановке и что погибшие должны лежать на кладбище под памятником на месте их захоронения. И совок «организовывает кампанию», не обращая внимания на то, что в его стране рушатся, а то и вовсе отсутствуют памятники погибшим воинам, на костях которых возникают коммерческие стройки. Принцип совка-горлохвата таков: что у нас — это наше дело, а вот о ваших делах можно и поговорить.

Иное дело — совок-мыслитель и совок-политолог. Эти вам спокойно объяснят, что страна создавала свою индустрию, покупая технику за рубежом. Нужны, мол, были деньги, которые можно было получить, продав зерно. А крестьяне не хотели отдавать зерно, пришлось его забрать. На вопрос о том, куда необходимо было продать отобранный у крестьянина мешок картошки, десяток куриных яиц, бегающего по двору цыпленка и шмат сала из погреба, совок-мыслитель обычно потуплял взор и говорил: «Ну были, конечно, *перегибы* на местах...» Эти «перегибы», как известно, исчисляются миллионами смертей, но совка, если он мыслитель, такой «мелочью» не смутить.

Обычно совок приходит в неистовство не только при сопоставлении совковых и не совковых человеческих достижений, но и при сопоставлении совковых и не совковых человеческих потерь. Совок везде и во всем хочет быть главным и поэтому звереет, когда речь заходит, например, о Холокосте. Один из «крупных» идеологов совкизма, назовем его Премудрый совок, почивший в бозе на пороге XXI века, был готов всеми своими вставными зубами бороться за каждый миллион убитых нацистами евреев, чтобы снизить общую цифру невыносимых для него, Премудрого совка, еврейских потерь:

— Ну каких там шесть миллионов! — кричал Премудрый совок на страницах известного совкового «органа» за год до своей смерти.— От силы четыре миллиона. Мизер в общем! — кричал он, ударяя об землю своим картузом, и продолжал: — Да посмотрите, *кого* там из *них* поубивали — шушеру всякую, один *приличный* человек погиб — Януш Корчак, а остальные-то доброго слова

не стоят! О чем тут вообще можно говорить! — завершает свою *светлую* «мысль» Премудрый совок и переходит в пляс, оскверняя своим воем память Аполлона Григорьева:

Басан, басан, басана... etc.

Бастион третий связан с Катыньской историей. Уже, казалось бы, даже самые высокие «охранители исторической правды от зарубежных посягательств» признали вину советского режима и «лично товарища Сталина» в умерщвлении в катыньском лесу (а заодно и в харьковском лесопарке и на окраине Старобельска) нескольких десятков тысяч представителей польской интеллигенции, переодетых по случаю развязанной Гитлером и Сталиным Второй мировой войны в военную форму. Казалось бы, что тут такого особенного? Ведь если даже по меркам совков сталинским режимом было разными способами истреблено «всего» пару десятков миллионов своих сограждан, то что на этом фоне представляет собой жалкая кучка польских очкариков и дантистов? Сознаемся же, что и их тоже... Наконец сознались, но совок всё равно против. Один из активных совков уверяет, что он стоит на страже государственных интересов, потому что признай Катынь, так пшеки затребуют контрибуцию, а где это видано, чтобы победитель, поделивший в 39—40-м годах Польшу с Гитлером, платил контрибуцию? За державу, мол, всё равно обидно, даже если эта держава — убийца. Другой активный совок действует тоньше: он напоминает, что при вскрытии катыньского могильника обнаружились какие-то немецкие причиндалы. Совок делает вид, что он забыл, кто туда эти причиндалы подложил, и смело публично выражает свое сомнение, а сомнение, как это известно еще со времен римского права, толкуется в пользу обвиняемого.

Бастион четвертый является ареной борьбы с наглыми утверждениями некоторых евреев, что генералиссимус хотел их отправить осваивать Сибирь (что ему с первой, биробиджанской, попытки не удалось). Тут опять-таки возникает вопрос: а в чем сомнения? Почему бы их туда не отправить? Я бы, например, на месте верховного главнокомандующего непременно их туда бы отправил. Но совок против даже вероятности такого события. Забывая о том, что в июле — ноябре 1941 г. на восток было отгружено 11 миллионов человек, совок начинает вас убеждать, что вывезти в теплушках 2—3 миллиона евреев и людей, на евреев похожих, было *технически* невозможно, хотя известно, что для настоящего коммуниста нет ничего невозможного. В технической

невозможности этой акции меня уверял даже еврейский совок — есть и такие,— сбежавший в Филадельфию. Отмечу, что «еврейский совок» — не такое уж редкое явление. Их сотни и тысячи. Осев в Израиле, Германии, Соединенных Штатах и других гостеприимных странах, они, как правило, вслух предаются благодарным воспоминаниям о советском режиме, что, впрочем, как свидетельствует древняя поэзия, свойственно еврейской душе:

Пусть прильпнет язык к гортани,
Пусть рука моя отсохнет,
Если только позабуду... и т. д.

Ярким примером еврейского совка была супруга «каменной задницы» Полина Жемчужина, которая до конца дней своих считала, что «Коммунистическая партия, Советское Правительство и лично товарищ Сталин» были правы, когда посадили ее в кутузку.

И я уже не знаю, какая группа совков — еврейская или не еврейская, или обе вместе — заняли по отношению к проблеме несостоявшейся еврейской депортации позицию Лёлика из «Бриллиантовой руки»: «На ето я пойтить никак не могу». Для укрепления своей круговой обороны они нанимают «независимых», «известных» и «честных» историков, снабжают их целевыми грантами, и те не обнаруживают бумажных следов депортационных намерений и делают ожидаемый спонсорами вывод, что этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Правда, было бы интересно узнать, существуют ли бумаги о всех прочих десятках советских депортаций или об убийстве Михоэлса, которые бы фиксировали намерения, а не свершившийся факт. Однако поиск — вещь увлекательная, и конца депортационным прениям пока не видно.

Вероятностной оценкой возможности депортации в 1953 году «советских» евреев я специально не занимался, но когда идиотский протестный вой совковых патриотов и их наемных историков достиг апогея, я (под другим псевдонимом) позволил себе вмешаться в этот «научный» спор и публично напомнить о письме Сталину от чекистского функционера Питовранова, сидевшего в лубянской тюрьме по делу Абакумова. В своем письме этот «простой советский заключенный» напоминал вождю о его задушевной беседе с высшим гэбистским комсоставом, в которой генералиссимус и большой ученый обращал внимание мастеров заплечных дел на то, что в 1952 году еврейская диаспора в колыбели

мирового социализма представляет для этой счастливой страны такую же опасность, какую представляли собой поволжские и иные фольксдойчи в 1941 году. Питовранов правильно понял тонкий намек Отца родного и торжественно провозгласил в своем письме полную готовность немедленно начать реализацию заветного желания вождя. Такое рвение пришлось генералиссимусу по душе, но тогда он торопился подлечить свои старые кости в Цхалтубо, и потому, после непродолжительного личного общения с отважным бойцом невидимого фронта, поручил передать ему пожелание «хорошо отдохнуть» и многозначительное предсказание, что он *«скоро понадобится»*.

В ноябре 1952 года (за два месяца до публичного оглашения «дела врачей») этот комсомолец-доброволец, обещавший вождю сделать былью мечту о еврейской депортации, был переведен из тюремной камеры в свой служебный кабинет, где пребывал в полной боевой готовности. Но, как мы знаем, в дело вступили иные силы, неподвластные генералиссимусам, и активист Питовранов гению всех времен и народов в этой жизни уже не понадобился. Однако, несмотря на то, что «процесс суда над убийцами в белых халатах» не стал очередным «торжеством советского правосудия», депортация евреев все же произошла, хоть и не в указанном вождем направлении, но так или иначе в стране — преемнице вечного сталинского Царствия — их нынешнюю численность он, возможно, признал бы вполне допустимой, а может быть, и нет.

И наконец, *пятый бастион*, защитники которого, не жалея сил, борются с версией сотрудничества товарища Сталина с охранительными заведениями Николая Второго. Здесь защитники репутации вождя воздвигают те же требования, что и воины, сражающиеся на предыдущем бастионе, которые можно выразить двумя словами: «Бумагу давай!». Дали им одну бумагу — знаменитое «письмо Еремина», но они ее не приняли, выразили сомнение, а сомнение, как уже говорилось, упирается в презумпцию невиновности и т. п. Совки хотят видеть заявление вождя о приеме в шпики, письменные копии донесений «агента Джугашвили» (обязательно, чтобы было указано: «Джугашвили»), расписки в получении жалованья «за проделанную работу». Возможно, упорные совки не понимают, что все эти атрибуты возможны, но не обязательны, а может быть, они только притворяются не понимающими этих простых вещей. В любом смысле, надо полагать, объяснения, которым посвящена следующая глава, будут полезны.

ГЛАВА III.
Откройте, полиция!

Спецслужбы всего мира работают с людьми и среди людей, и поэтому они во все времена нуждались и продолжают нуждаться в информации и информаторах. В парадном мундире эту информацию получить трудно, и, даже сняв этот мундир, любой опер быстро примелькается и станет узнаваем, так как в целом ряде случаев ему приходится предъявлять удостоверение и, таким образом, светиться. В связи с этим спецслужбы во всем мире создают тайную агентуру, состоящую в их штате полностью или по совместительству, работающую под прикрытием и исправно и регулярно получающую свою заработную плату.

Кроме того, в распоряжении каждого действующего оперативника имеются собственные *осведомители*, которые в официальных списках работающего в «органе» персонала не значатся и за получаемое ими из рук своего «хозяина» вознаграждение нигде не расписываются. Умный оперативник дорожит своими осведомителями как родными детьми, не раскрывает их имена даже самым надежным коллегам, не передает их во временное пользование даже самым близким товарищам по оружию, и лишь покидая «орган» по какой-либо причине насовсем, может уступить эти свои бесценные кадры кому-нибудь другому, либо распустить их по домам, но в любом случае никаких распознаваемых следов пребывания осведомителей на их тайных постах не остается.

В демократических государствах основные усилия оперативников спецслужб, их штатных агентов и тайных осведомителей направлены на то, чтобы проникнуть и взять под контроль мир криминала. А среди целей спецслужб в государствах авторитарных наибольшее внимание уделяется политическому сыску. Методы же их во многом близки, и в агентурной среде пышным цветом распускается культ тайны и шифра, затрудняющих будущие архивные исследования.

Почитатели Швейка должны помнить, что в мирное время будущего бравого солдата усиленно обхаживал тайный агент Бертшнейдер, стремившийся то ли завербовать его в осведомители, то ли пришить ему какое-нибудь политическое дело. Как известно, до войны Швейк отлавливал бродячих собак и перепродавал их, выдавая за породистых псов. Поэтому его кум Бертшнейдер, чтобы втереться в доверие к своему подопечному,

был вынужден покупать у него этих собак. И Гашек пишет: «Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ — 40 к.; ФТ — 50 к.; Л — 80 к. и так далее, но они безусловно ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ черно-желтому орлу.

В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ — фокстерьера, а Л — леонберга. Всех этих собак Бертшнейдер привел от Швейка в полицейское управление.

Это были гадкие страшилища, не имевшие ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк их выдавал Бертшнейдеру».

Так как Швейк оказался крепким орешком, то к его вербовке и провокациям подключили более важного агента:

«Сам сыщик Калоус заходил к Швейку, чтобы купить собаку ... и вернулся с настоящим уродом, напоминавшим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась пометка: Д — 90 к. Этот урод должен был изображать дога».

Примерно так же выглядели полицейские архивы и после октябрьского переворота, и пометка «Д» могла в них означать или «дога», или Джугашвили, или князя Долгорукого и еще бог знает кого.

Любая тоталитарная система всегда стремилась (и стремится) к расширению стукачества. Это вечное стремление великолепно описал Щедрин, повествуя о грядущих административных преобразованиях города Глупова, намечавшихся Угрюм-Бурчеевым:

«Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица (формула, впоследствии использованная великим Шарлем Ле Корбюзье в его архитектурных поисках.— *Л. Я.*), имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод в свою очередь имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно Город, который из Глупова переименовывается в «вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича» город Непреклонск. Над городом парит окруженный облаком градоначальник, или всех сухопутных и морских сил города Непреклонска обер- комендант, который со всеми входит в

пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!» (Автор данного романа должен заявить, что за нехорошие ассоциации с другими временами и политическими образованиями, которые могут возникнуть у некоторых людей по прочтении этой цитаты, он ответственности не несет.)

Я достоверно не знаю, как вербовались агенты и осведомители-шпионы в императорские времена, но имею представление о том, как это делалось в совковое время. Конечно, были человеческие особи, с детства мечтавшие «служить народу» именно таким образом. Но эти не в счет. Займемся нормальным человеком. Он никогда и нигде не был «в первых рядах», не коммунист и даже не еврей. Не выходя из массы, получил образование и добросовестно трудился лет десять-двадцать, находясь на хорошем счету, но не состоял в кадровом резерве «на выдвижение». Он из тех, про кого в характеристиках писалось «морально устойчив» (секса-то в стране не было, были отдельные совковые случки, особенно при массовых выездах на колхозные поля), политически грамотен и т. д. и т. п.

И вдруг, как любил писать Достоевский, ему «выделяют» туристическую путевку в Румынию. Совковый туризм в отличие от тайного секса всегда был групповым, и группы эти старались формировать так, чтобы их участники в своем большинстве не знали друг друга. Перед отъездом нашего героя приглашают в кабинет директора. Но сидит там не директор, а незнакомый человек с приветливым и добрым лицом и усталыми глазами, в безукоризненно (по тем временам) сшитом костюме. Он поднимается и с милой улыбкой идет навстречу входящему, протягивая ему руку, и обращается к нему по имени-отчеству, а потом усаживает, стараясь, чтобы гостю было комфортно, и сам садится напротив. В общем получаются «эти глаза напротив». Секретарша директора вносит чаёк, и временный заменитель директора начинает задушевную беседу примерно с такой тирады:

— Мы (кто такие «мы» не уточняется) вас знаем давно как надежного работника и примерного семьянина, и там, куда вы едете, вы непременно будете своего рода образцом настоящего простого советского интеллигентного человека, но люди бывают всякие — вы это хорошо знаете, и, приближаясь к границам нашего социалистического мира, они ведут себя по-разному. В общем, что мне вам, умному человеку, объяснять: за всем нужен глаз, да и уши пригодятся. Вы, по нашему мнению, один из тех, кто может личным примером и дружеским намеком сгладить шероховатости и удержать кого-нибудь от ненужных

поступков, а потом, конечно, рассказать обо всем, что видели и слышали, нам, грешным, а мы уже будем думать, как помочь этому слегка оступившемуся человеку.

Тихая и спокойная речь «товарища из органов» убаюкивала совесть, но спать нашему герою совсем не хотелось. Он, опять-таки — вдруг, понял, что для него наступает личный момент истины. Он понимает, что занять гордую позицию типа: «никогда Воробьянинов...», здесь не получится. Бессмысленно также ссылаться на больную тещу. Нужно было думать, но думать очень быстро, а в его воображении, как в воображении умирающего от смертельного ранения севастопольского офицера времен Крымской войны, пронеслась вся его жизнь. Но не прошлая, как в сочинении Льва Толстого, а будущая:

Вот он съездит в Румынию и доложится этому милому «куратору» обо всем виденном и слышанном, может быть, даже «напишет оперу». А потом? Как он будет смотреть в глаза друзьям? Более того, «эти» могут потребовать, чтобы он писал оперу и обо всем, что обсуждалось на его кухне и на кухнях его друзей во время дружеских застолий и т. д., и т. п.

Но, допустим, что он придумает сейчас какой-нибудь жалкий предлог и наотрез откажется. Что будет дальше? Через год сыну поступать в институт. Поступит ли он или загудит в армию? Останется ли он сам в очереди на автомобиль и на улучшение жилищных условий, если он «их» сейчас отошьет? И вообще, что тогда будет? «Они» ведь могут...

Сидевший напротив него психолог из «органов» с легкой улыбкой читал его мысли. Дав ему их додумать, а его душе подвергнуться смятению, он ласково утешил страдальца:

— Вы же понимаете, что эта, можно сказать, общественная нагрузка будет одноразовой. Ну, не исключено, что *когда вы поедете за границу в следующий раз*, мы снова обратимся к вам с такой же небольшой просьбой.

А когда моральные бури в душе клиента на глазах у «кума» улеглись, чекист невзначай обронил:

— Кстати, мне кажется, что вы засиделись на должности старшего инженера. Не пора ли вам стать руководителем группы? Мы об этом подумаем...

Итогом встречи чекист был доволен: у группы, отправляющейся в преисполненный соблазнов, хоть и не вполне западный мир, теперь был один командир и один шпион, так что завет сконструированного Щедриным градоначальника Угрюм-Бурчеева был выполнен. Впрочем, шпионов, не знающих друг друга, в этой

румынской группе могло быть и несколько, что было крайне полезно для последующего сопоставления информации.

Здесь был описан выход спецслужб на контакт, можно сказать, с девственником. Опытный зэк на его месте не мучился бы угрызениями совести, а немедленно принял бы все предложения «кума», как, например, Солженицын без долгих уговоров стал стукачом «Ветровым» и регулярно писал оперу. Жаль, что большинство этих «рапортов» не сохранилось, и ни один из них не вошел в собрание сочинений нобелевского лауреата.

Тоталитарные и авторитарные режимы стремятся постоянно увеличивать число стукачей в своих империях, и я полагаю, что число шпионов, указанное Угрюм-Бурчеевым (устами Щедрина),— далеко не предел. По некоторым сведениям, в начале семидесятых годов прошлого века их количество в совковой империи исчислялось тремя сотнями тысяч. У меня есть основания считать эту численность заниженной. В доказательство приведу вполне реальный случай, рассказанный мне моей сотрудницей.

Ей (этой моей сотруднице) в годы застоя «выделили» туристическую путевку в Болгарию. Как положено, она «обмыла» эту радость в своем коллективе, состоявшем из шести женщин (она была начальницей этой группы), каждая из которых проработала вместе с ней более десяти лет. Дружили, как говорится, домами, вникая во все трудности и житейские неурядицы, помогая друг другу их пережить.

Во время скромного застолья «на посошок» все веселились и шумно обсуждали условия поездки и досадовали, что очень мало постылых рублей разрешают поменять на заманчивые левы. Так же весело стали разрабатывать варианты добычи лишних левов. Возникло предложение что-нибудь продать из одежды, а потом сказать куратору, что забыла кофту или куртку на какой-нибудь экскурсии. Этот вариант тоже вызвал смех, так как в представлении совковых стареющих модниц София мало чем отличалась от Парижа с его королями и королевами стиля. Между делом, в процессе шутливого поиска выхода из этого исхода моя сотрудница обмолвилась, что единственная ценность, которой она владеет, это царский червонец. Покойная бабушка берегла себе «на зубы», да так и не собралась озолотить свою улыбку. Но, мол, как его провезти и как потом продать. Еще раз посмеялись, представив путешественницу с червонцем за щекой, преодолевающую ужасные досмотры. На том и разошлись.

А две недели спустя, вдали от родного города, пограничнотаможенный майор Пронин, прежде чем пропустить ее в

предбанник свободного мира, поднял на нее свои тоже весьма усталые, но внимательные глаза и проникновенно спросил:

— А не везете ли вы с собой, случайно, золотой царский червонец?

— Нет, конечно,— машинально по-деловому ответила она и лишь потом сообразила, что за столом в ее старой доброй конторе среди шести человек, давно трудившихся бок о бок, была всё-таки стукачка. Уяснив это для себя, она по возвращении перевелась в другое подразделение, наивно полагая, что от этого что-либо изменится. Таким образом, совковая реальность превзошла самые смелые ожидания Щедрина: режим самоорганизовался по схеме «пять человек и один шпион».

Тех, кому захочется более глубоко окунуться в атмосферу вербовки штатной и нештатной агентуры в совковый период, я отсылаю к книге «Спокойной ночи», в которой ее автор — Абрам Терц (Андрей Синявский) — отразил свой личный опыт принудительно-добровольного общения с КГБ, поскольку мне — автору этих строк — не пришлось побывать в шкуре вербуемого, и всё, о чем здесь говорилось, было услышано за рюмкой чая через многие годы после описанных событий, когда обсуждать эти вопросы стало безопасно. Из собственной жизни я могу привести лишь один случай. Мой относительно солидный вид ввел в заблуждение институтское руководство, и я на первом же курсе оказался кем-то типа старосты в одной из групп первокурсников. Было это в 1951-м. После первого семестра одного из студентов моей группы начальство без видимых причин решило отчислить, и им потребовалось формальное согласование со мной (как представителем студенческой общественности). Я потребовал объяснений, а когда их мне не дали, наотрез отказался визировать приказ, после чего был вызван к парторгу института, носившего грузинскую фамилию. Назову его по созвучию с его паспортными данными — Саакадзе. Выслушав мои претензии, Саакадзе сказал:

— Вам это знать необязательно. Но вы — человек молодой, и вам уже сейчас следует решить, будете вы с нами или не с нами.

— Мне бы хотелось быть самому по себе,— не задумываясь ответил я.

— Что ж, попробуйте. Не уверен, что это у вас может получиться,— завершил нашу беседу Саакадзе.

В общем, однако, получилось. Я прожил жизнь, не общаясь с «органами», уклоняясь от этого общения, даже когда оно требовалось по службе, не оформлял допуска, не пользовался возможными загранкомандировками и т. п. А тогда в институте меня

сразу же «освободили» от «почетных» обязанностей, и мой сменщик на ответственном посту сразу же «санкционировал» исключение соученика. Возможно, разговор с Саакадзе не прошел бесследно, и где-то на моих делах была поставлена какая-то закорючка. У «них» ведь всегда была система каких-то тайных знаков: я помню, как топтун на одной из проходных на Старой площади, куда я был вызван во внеурочное время и без заказа пропуска для каких-то срочных профессиональных справок, долго читал мой паспорт, включая паспортные правила на последних страницах, с усердием, достойным попыток прочитать Марселя Пруста или «Улисса». Что он там искал, мне не ведомо.

Тем не менее, случай с Саакадзе я запомнил не как проявление личной «диссидентской» доблести, а по причине угрызений совести. Дело в том, что на распределении перед окончанием института мне, не имевшему ни единой четверки в матрикуле, не только не дали, как положено, права первоочередного выбора направления на работу, но и стали насильно совать какой-то объект в тех краях, где вожди когда-то из искры разжигали пламя. Я не стал сдерживать эмоций. И когда ректор поинтересовался, что всё-таки мешает мне принять это назначение, я сказал, что у меня нет никого, кроме больной туберкулезом матери (это было правдой), и везти ее в те благодатные края я не могу. И тут вдруг подскочил Саакадзе со словами:

— Но там же очень здоровый континентальный климат, благоприятный для лечения туберкулеза.

Это был май 1956 года, и я немедленно задал ему вопрос, уже не содержавший никакой опасности для спрашивающего:

— Это вы, наверное, в краткой биографии Джугашвили вычитали?

Саакадзе побледнел и молча покинул ректорский кабинет.

Вот за это потом меня стала мучить совесть, потому что я понимал, что после нашего первокурсного разговора он не сделал мне ничего такого, что сделать мог, а может быть, даже был обязан сделать по *их* «тайным» правилам.

В студенческие годы я не отличался примерным поведением, пил, участвовал в дебошах, не конспектировал, а иногда и просто не слушал лекций, играя с приятелем в шахматы на заднем столе. А мне дали закончить институт, да еще с красным дипломом.

— Что-то с вами было не так, как с другими, а что именно — никто не мог понять. Вам почему-то всё сходило с рук, хотя всё было известно где положено, и даже такой смертный грех, как выпуск издевательского рукописного журнальчика, обошли своим

вниманием компетентные люди. Мы, откровенно говоря, были почти уверены, что вы — провокатор и побаивались вас, и только ставший известным скандал с вашим назначением несколько поколебал наши убеждения, так как всем было известно, что со «своими» «они» так не поступали,— так спустя много лет пытался мне объяснить мои «странности» один из моих институтских учителей — милый старик Рубинштейн, царство ему небесное.

Так это, вероятно, выглядело со стороны, но я никогда не заботился о своем имидже, и только воспоминание о моем издевательском вопросе с упоминанием Джугашвили, заданном парторгу Саакадзе на выпускной комиссии, слегка жгло мою память как своего рода «несимметричное» действие по отношению к человеку, не использовавшему свои возможности, чтобы мне навредить, хотя мог.

Много лет спустя я попытался хотя бы частично искупить этот свой грех. Дело в том, что доктором-профессором Саакадзе, несмотря на свою партийную активность, так и не стал, а пришло время, когда некогда солидные преподавательские заработки утратили былое содержание и «доценты с кандидатами» бегали по городу, добывая работы для научно- исследовательских секторов своих институтов, чтобы прибавить к своему содержанию еще полставки или что-то вроде этого. Формирование таких заказов входило тогда в круг моих возможностей, и я постарался, чтобы одна из не очень нужных тем досталась Саакадзе, что, однако, не вполне успокоило мою совесть.

Героями рассматриваемых случаев были люди брезгливые, которым не только добровольное стукачество, но даже само общение с «референтами из органов» представлялось смертным грехом, но нет оснований полагать, что таких советских людей большинство. Перестроечные и постперестроечные разоблачения свидетельствуют о том, что с «органами» охотно сотрудничало огромное количество совков — более всего из интеллигенции — из тех, кто «занимал активную жизненную позицию», кто старался таким испытанным способом обойти лучших, кто хотел «что-то значить» в уродливом, морально деформированном «мире социализма». Совкового социализма, естественно. Даже руководитель советского учреждения обычно не знал, сколько в доверенном ему «дружном» коллективе стукачей, в чем я совершенно случайно убедился. Директор проектного института, в котором я проработал несколько десятилетий, был человеком безгранично благородным, естественно, в разумных пределах. По происхождению

он был одесситом, и когда он случайно узнал, что я — внук почетного потомственного гражданина города Одессы, на заводе которого прибористом (рабочая аристократия!) работал его отец, у нас установились весьма доверительные отношения, так как и в текущих делах я его не подводил. И вот однажды в наш институт приехала из Днепропетровска бывшая юная подруга моих первых инженерных лет. Когда мы с ней, болтая о том о сём, шли по длинным коридорам нашей фирмы, ее лицо вдруг окаменело, и она, сжав мою руку, сделала стойку, словно почуяв опасность.

— Кто *он* здесь у вас? — тихо спросила она, показав глазами на тщедушного человечка.

Я лично его не знал и только слышал, что этого типа с длинной фамилией вроде «Подиконников» недавно приняли к нам для использования по партийной линии. Поскольку в коммунистическо-фекальных развлечениях я не участвовал, он меня вроде бы не касался. Узнав об этом, моя подруга сказала:

— Это же страшный ублюдок!

И она поведала мне, что этот Подиконников — сосед ее матери по коммунальной квартире в Харькове, где он живет вместе с женой, преподавательницей немецкого в местном университете, и вместе же они постоянно стучат на других жильцов, и что ее мать уже вызывали в КГБ повесткой по поводу нехороших кухонных разговоров на темы всеобщего дефицита.

Ее рассказ меня заинтересовал, и я по своим каналам стал выяснять, откуда у нас возник этот тип. Оказалось, что он работал до нас в другой проектной фирме и там довел своими доносами в разные «инстанции» ее директора до того, что тот вскричал: «Или он, или я». Подиконников не учел, что та организация была «номерной», то есть творила оборону страны, и опекуны доносчика были вынуждены его убрать с предоставлением ему нового поля деятельности.

Получив эти сведения, я немедленно зашел к директору, чтобы предостеречь его от опасного гостеприимства. Все же понятие «испытательный срок» еще существовало, и если бы шеф уперся рогами, то смог бы охранить от гада свою территорию.

Однако директор воспринял мою информацию философски:

— Один человек в этом деле ничего не решает, и не только вы, но и я сам не знаю, сколько *их* у меня работает!

И мы вместе стали перебирать различные сомнительные ситуации в недавней истории фирмы, чтобы логическим путем попытаться определить стукачей. С большим трудом мы насчитали всего 18 штук.

— Видите, как *они* маскируются? — сказал директор.— Вы же понимаете, что в коллективе в 1500 человек *их* значительно больше!

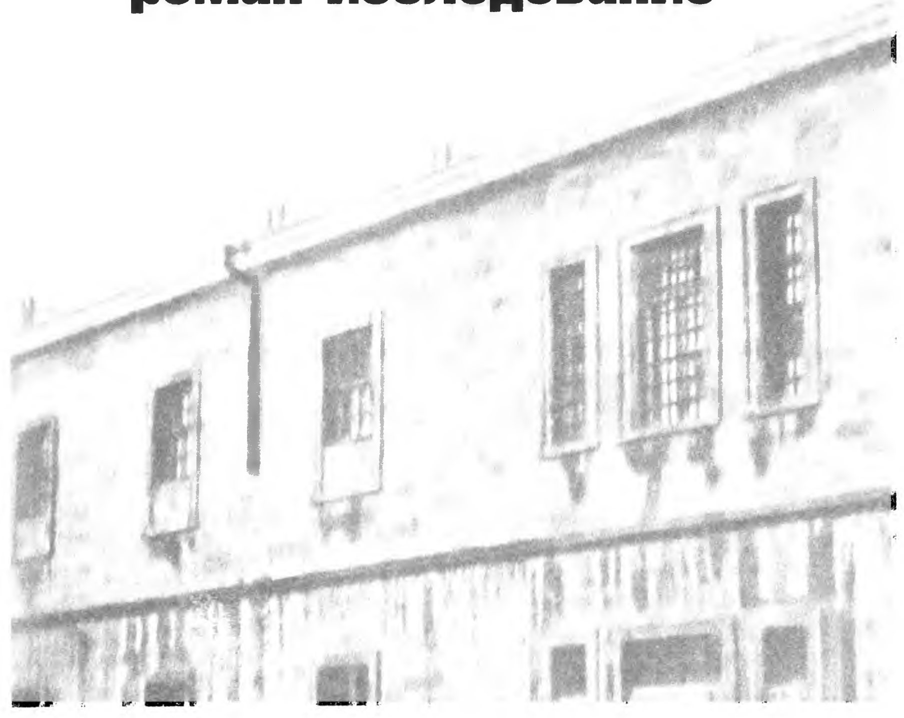
Я это понимал, А мой директор был одесситом-украинцем и верил в свою хитрость, потому что, как известно, одесситы-украинцы в несколько раз хитрее одесситов-евреев. Но тут его действительно незаурядные ум и хитрость, позволявшие ему руководить институтом с 1938 по 1976 год, коллекционируя награды и избегая предлагавшихся повышений статуса, ему не помогли. Именно этот гад, Подиконников, испортил его последние трудовые годы.

Я же за почти тридцать лет пребывания Подиконникова в нашей фирме в качестве «секретаря парткома» и просто бездельника не стеснял себя в своих отзывах о нем и ни разу не только не пожал ему руку, но даже и не поздоровался с ним. Потом мне рассказали, что когда после 1991 года очищали авгиевы конюшни от коммунистического навоза, в «творческом наследии» Подиконникова была обнаружена папка с ботиночными тесемками, в которой этот стукач собирал на меня различные «неопровержимые улики». Почему он не пустил их в дело — не знаю. Может, его останавливало то, что я был «лично известен в московских и киевских профессиональных «верхах» того времени, что на меня в год сыпалось по десятку благодарностей и т. п., и он ждал удобного момента, да и не дождался. Потом этого партайгеноссе-пенсионера я видел метущим улицу, потом мне говорили, что он стал мелким местным функционером одной из бесчисленных новых украинских политических партий. А одна дама из тех, кто поставлял ему на меня «материалы» для его заветной папки, в глубокой старости и в абсолютной беспомощности умерла на моих руках... Таковы причуды судеб человеческих.

Для таких «подиконниковых», в отличие от молодого Сталина, общение с «органами» не было неизбежным и не являлось вопросом жизни или смерти, и чтобы иметь право судить вождя за грехи молодости, нужно хотя бы попытаться представить себя на его месте, что и будет сделано во второй части этого небольшого романа.

Часть вторая

Приключенческий роман-исследование



Блаженны непорочные в пути...
Пс. 118, 1

ГЛАВА IV.
Начало начал

Будет Васинька семи годов,
Отдавала матушка родимая,
Матера-вдова Амелфа Тимофеевна,
Учит его во грамоте.
А грамота ему в наук пошла;
Присадила пером ево писать,
Письмо Василью в наук пошло;
Отдавала петью учить церковному,
Петье Василью в наук пошло.
Из былины о Василии Буслаеве
и мужиках новгородских

Федора Михайловича Достоевского в последние годы его жизни, как известно из его жизнеописаний, томили тяжелые предчувствия, и когда он отвлекался от своей традиционной темы — от жидов и жидишек, эксплуатирующих самый красивый в мире русский народ, он частенько, предчувствуя приход Зла, вперял свой пророческий взор в семинаристов, что отразилось во многих его записях, сделанных «для себя»:

«Семинарист. Кто таков. Семинарист проклятый, атеист дешевый».

«Семинарист, обособленный человек».

«Семинаристы, как status in statu,— вне народа».

«Семинарии надо поскорее возвысить до гимназий ... что тем уничтожится рассадник нигилятины».

«Но может ли семинарист быть демократом, даже если б захотел того?»

«Левиты, семинаристы это — это нужник общества».

«...семинарист действует всем гуртом. Семинарист всегда в гурте. Это существо стадное».

И т. д., и т. п.

Николай Бердяев, не отрицавший пророческого дара Достоевского, всегда удивлялся тому, что в отношении России всегда сбывались только самые дурные предсказания этого великого писателя, уверенно использовавшего в своих сочинениях приемы мрачного юмора. Накаркал он и на этот раз: будущий «Семинарист неразумный», как, пребывая во хмелю, обозвал его им же убиенный поэт (см. эпиграф к данному роману), появился на свет еще при жизни пророка. Как говорится, помяни беса, и он тут как тут.

Мы опустим подробности отнюдь не розового детства Семинариста вблизи туповатого алкоголика-отца и волевой матери, оставшейся соломенной вдовой, когда муж переселился в Тифлис, но продолжавшей расходовать все свои силы, чтобы дать единственному (из трех или четырех) выжившему сыну «приличное» образование. В своих мечтах Екатерина Георгиевна Джугашвили видела Иосифа священником, хотя бы в какой-нибудь деревенской церкви. Отсюда — и духовное училище, и пение в церковном хоре, и, наконец, семинария. Впрочем, некоторые эпизоды трудного детства вождя, над которыми усиленно поработали его биографы разных мастей, мы еще, может быть, помянем в дальнейшем.

Не менее усердно потрудились авторы его жизнеописаний и над семинарским периодом его бытия. Созданы многочисленные легенды о потрясающей политической активности нашего Семинариста, который будто бы вел несколько политических марксистских кружков внутри семинарии (как бы оправдывая сообщение Достоевского о том, что семинарии являются рассадником атеизма и всякой нигилятины) и еще несколько таких же кружков среди железнодорожных рабочих. Не будем выяснять, как он с этим справлялся, как мог быть пастырем стольких «стад» при суровой, можно сказать, казарменной дисциплине в семинарии, так как даже в самых героических описаниях его приключений этого периода о каких-либо его столкновениях с полицией и тайными службами не упоминается. Поэтому начнем с доступного нам документа, в котором точно зафиксирована дата первого столкновения Сталина со спецслужбами.

«1 мая 1902 г. № 2040.
Секретно.

На отношение от 24 сего апреля за № 406 уведомляю Ваше Высокоблагородие, что имеющиеся сведения о Канделаки Вам уже сообщены, что же касается просимых следственных действий по

делу об Иосифе Джугашвили и сведений о том, обучался ли он в Тифлисской семинарии, то по выполнении все акты следственных действий и полученные сведения будут к Вам препровождены. В настоящее время сообщаю Вам, что Иосиф Джугашвили в марте прошлого 1901 года служил в Тифлисской обсерватории, был подвергнут обыску в порядке охраны по подозрению в участии в социал-демократическом движении, но обыск не дал результатов. По агентурным данным осенью того же 1901 года Джугашвили был избран в состав «Тифлисского Комитета Российской Социал-демократической рабочей партии», участвовал в двух заседаниях этого «Комитета», а в конце 1901 года был командирован для пропаганды в г. Батум, отсюда в январе сего 1902 года присылал в Тифлис за нелегальной литературой, каковая по постановлению «Комитета», и была ему отправлена. На отобранной при обыске книжке с записями расхода подпольной литературы усматривается, что в январе 1902 года действительно в Батум была отправлена означенная литература.

Ввиду изложенного прошу Ваше Высокоблагородие препроводить мне на предмет предъявлений фотографическую карточку Иосифа Джугашвили в двух видах».

Распечатка этого документа и его факсимильное изображение опубликованы в книге «Батумская демонстрация 1902 года» (Москва, Партиздат ЦК ВКП (б), 1937). Кому он адресован, кто такой «Ваше Высокоблагородие» и кем он подписан, кто просит для опознания фотографии Сталина — неизвестно. В упомянутой книге он представлен читателю словами: «Из донесения жандармского управления», хотя никаким «донесением» здесь и не пахнет, скорее всего, это фрагмент служебной секретной переписки. Судя по дате (1 мая 1902 г.), письмо было написано после первого ареста Сталина (5 апреля 1902 г.) и предшествовало его первому допросу в Батумской тюрьме (21 июня 1902 г.).

Из этого письма следует, что первое соприкосновение Сталина со спецслужбами состоялось в марте 1901 г. При этом поражает осведомленность спецслужб (об избрании Сталина в «Комитет» осенью 1901 г., командировании его в Батум и высылке ему нелегальной литературы), свидетельствующая о том, что в «Комитете» у них был крот.

В юбилейной книге о батумской демонстрации приводится (в печатном и факсимильном видах) рапорт пристава об аресте Джугашвили (среди прочих «заговорщиков»), представленный ниже.

«СЕКРЕТНЫЙ РАПОРТ
ПРИСТАВА 4-ГО УЧАСТКА БАТУМА
БАТУМСКОМУ ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРУ

ОТ 6 АПРЕЛЯ 1902 г.

Имею честь донести Вашему Высокоблагородию, что вчера в 12 часов ночи мною был оцеплен дом Русадзе, в м. Лиман-Мелие, Батумского округа, где, по агентурным сведениям, была сходка рабочих, и в квартире рабочего завода Манташева — Дариспана Дарахвелидзе я застал неизвестных ему лиц: уволенного из духовной семинарии, проживающего в Батуме без письменного вида и определенных занятий, а также и квартиры, горийского жителя Иосифа Джугашвили, ученика 6-го класса местной мужской гимназии, одетого в цивильный костюм Вано Рамишвили (двоюродный брат учителя местной грузинской школы Исидора Рамишвили, пальто которого оказалось на гимназисте Рамишвили), и подозреваемого в участии движения рабочих жителя Кутаисского уезда, Константина Виссарионова Канделаки, которые и переданы Ротмистру Джакели, которым Джугашвили и Канделаки заключены под стражу в Батумской тюрьме, а Рамишвили и Дарахвелидзе освобождены; при этом докладываю, что означенные лица заподозрены в волнении рабочих и к ним были вчера, в 10 ч. вечера, на сходку рабочие завода Манташева Миха Габуния, Владимир Датунашвили, Дариспан Дарахвелидзе и четыре армянина, тоже рабочие завода Манташева, имена и фамилии коих пока не добыты.

ПРИСТАВ (подпись)»

Затем идет донесение жандармского ротмистра Джакели, из которого следует, что Сталин на первом же допросе (до 9 апреля 1902 г.) попытался убедить жандарма, что во время батумских событий был у матери в Гори, однако его попытка организовать свое алиби, предупредив своего школьного товарища Иремашвили, в то время горийского учителя, чтобы тот об этом свидетельствовал, потерпела фиаско, так как тюремные вертухаи перехватили его маляву, которую он пытался передать на волю.

«ДОНЕСЕНИЕ
ЖАНДАРМСКОГО РОТМИСТРА ДЖАКЕЛИ

1902 года Апреля 9-го дня, в гор [оде] Батуме, я, Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Джакели, рассмотрев настоящую переписку, нашел: 1) что пристав 4-го участка гор [ода] Батума Чхиквадзе видел Иосифа *Джугашвили* в толпе у пересыльной части во время беспорядков 9-го марта, а сам Джугашвили утверждает, что приехал в Батум позже 15-го марта из Гори и в день же приезда в Батум поселился в квартире Константина Канделаки, 2) из показания же Канделаки усматривается, что Иосиф Джугашвили переехал в квартиру Канделаки на 7-й день после их первой встречи в гор [оде] Батуме, 3) сам Джугашвили не мог в своем показании указать на лиц, могущих установить его проживание в гор [оде] Гори в дни уличных беспорядков в Батуме (8 и 9 марта), за исключением матери своей, и 4) 8-го сего апреля, при свидании арестантов с посетителями, одним из арестантов были выброшены на тюремный двор 2 записки, из коих в одной автор записки просит неизвестного адресата повидаться в Гори со школьным учителем Сосо Иремашвили, сказать ему, что «Сосо Джугашвили арестован и просит его сейчас же сообщить об этом матери на тот конец, что если жандармы спросят ее: «когда твои сын выехал из Гори, то сказала бы: все лето и зиму до 15-го марта находился здесь» (в Гори); то же должны показать Сосо Иремашвили и мой дядя и тетка», а во второй (записке) автор просит какого-то Иллариона: «если приехал посланный в Тифлис человек, то скажи, чтобы он привез Георгия *Елисабедова* и вместе с ним пусть направил бы дело», причем из сопоставления содержания первой записки с показанием Джугашвили от 6-го сего апреля явствует, что автором этих писем является несомненно Джугашвили.

Все изложенное свидетельствует, что Иосиф Джугашвили играл видную роль в рабочих беспорядках в Батуме и что имеют отношение к этим беспорядкам также учитель Сосо Иремашвили и, главным образом, Георгий Елисабедов, а потому, на основании ст [атьи] 29-й Положения о Государств [енной] Охране, постановил: просить Начальника Тифлисского Губернского Жандармского Управления 1) о скорейшем производстве обыска в порядке Охраны у учителя Сосо Иремашвили, с которым и поступить по результатам обыска. Если же у Иремашвили ничего преступного обнаружено не будет, то допросить его в порядке же Охраны в ка-

честве свидетеля; и 2) о розыске Георгия Елисабедова и об обыске его и арестовании впредь до выяснения обстоятельств дела.

Копию с настоящего постановления представить Начальнику Тифлисского Губернского Жандармского Управления для исполнения.

Подлинное подписал и с подлинным верно:
Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр
ДЖАКЕЛИ»

Это разоблачение товарища Сталина, видимо, имело большое значение для охранительных служб, так как историю с перехваченной малявой в своем донесении в департамент полиции от 29 апреля 1902 г. со всеми подробностями пересказывает сам начальник Кутаисского губернского жандармского управления генерал-майор Стопчанский (Батум в те годы входил в Кутаисскую губернию).

«ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА КУТАИССКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ

29 АПРЕЛЯ 1902 г. № 712

Вр. и. д. помощника в Батумском округе ротмистр Джакели 18 сего апреля за № 387 донес, что арестованные им Иосиф Джугашвили и Константин Канделаки являются главными руководителями беспорядков, произведенных батумскими рабочими. Из показания одного из свидетелей видно, что Джугашвили известен у рабочих под именем «учитель рабочих»; руководя делом, Джугашвили держал себя в стороне и потому не все рабочие знали об нем, с рабочими же постоянно соприкасался Канделаки, известный в рабочей среде за помощника учителя...

8-го сего апреля арестантом Батумской тюрьмы Замбахидзе были выброшены в тюремный двор к посетителям две записки на грузинском языке, адресованные на имя «Иллариона».

Первая из них следующего содержания: «адрес в гор. Гори, Оконская церковь. Около церкви приходская школа и увидите учителя той школы Сосо Иремашвили, этому человеку скажите, что Сосо Джугашвили арестован и просит сейчас же известить его мать для того, чтобы, когда жандармы спросят: «когда твой сын выехал из Гори?», сказала: «целое лето и зиму до 15 марта был здесь в Гори». То же покажут сам Сосо Иремашили и мой дядя с женою».

Вторая записка: «Илларион, если посланный в Тифлис человек возвратился, то скажи, чтобы привез Георгия Елисабедова и вместе с ним повел бы дело (направил)». Записки эти, по сличении их почерков с почерком Джугашвили, писаны им, Джугашвили. Содержание записок подтверждает показание свидетелей о вредной деятельности Джугашвили.

На основании упомянутых выше записок ротмистром Джакели послано отдельное требование начальнику Тифлисского губернского жандармского управления об обыске учителя Иремашвили, допросе матери Джугашвили в целях выяснения места пребывания Джугашвили в дни батумских беспорядков, а также об обыске и аресте Георгия Елисабедова, которому Джугашвили предлагает в записке руководить делом. Ротмистр Джакели дознал, что адресат «Илларион» есть рабочий завода Манташева Илларион Дарахвелидзе...

К числу членов Тифлисского Комитета по мнению ротмистра Джакели принадлежат поименованные выше Джугашвили, Елисабедов и Годзиев.

Первый из них представляет типичного пропагандиста и, конечно, не пожелает указать, где находятся Елисабедов и Годзиев...

Генерал-майор СТОПЧАНСКИЙ»

Через некоторое время, после того как сорвалась попытка Джугашвили организовать себе алиби, он вступил в переписку с царскими «органами». Сначала он сам стал косить под чахоточного, и в связи с ухудшением здоровья — «день за днем» — покорнейше просил проявить к нему внимание:

«Канцелярии главноначальствующего.
Содержащегося под стражей
в Батумской городской тюрьме
Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

ПРОШЕНИЕ

Имея в себе предрасположение к легочной чахотке и видя как здоровье мое день за днем ухудшается — осмеливаюсь покорнейше просить Канцелярию Его Сиятельства не оставить меня без внимания и освободить меня, по крайней мере хоть ускорить ход дела.

Проситель: Иосиф Джугашвили.
1902 г. 30 октября».

Когда и этот фокус не прошел, он сразу же стал заботливым сыном и «единственной опорой» одинокой матери (которую он спустя тридцать пять лет даже в гробу увидеть не захотел: слишком много его жертв в то время ждали своей участи и ему было недосуг заниматься никому не нужной старухой):

«Канцелярии главноначальствующего.
Содержащегося под стражей
в Батумской городской тюрьме
Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

НИЖАЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ

Всё усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже 12 лет и видящей во мне единственную опору в жизни — заставляет меня второй раз обратиться к Канцелярии главноначальствующего с нижайшей просьбой освободить меня из под ареста под надзор Полиции. Умоляю Канцелярию Главноначальствующего не оставить меня без внимания и ответить на мое прошение.

Проситель Иосиф Джугашвили.
1902 г. 27 ноября».

Бог в данном случае не был фраером, и этот номер у него тоже не прошел.

Касающиеся Сталина фрагменты документов спецслужб, несмотря на их канцелярское многословие, приведены здесь, как и его собственные просительные сочинения, чтобы читатель, во-первых, мог ощутить дух времени и, во-вторых, попытаться почувствовать себя на месте будущего вождя. Документы эти показывают, как из человека, спецслужбам неизвестного, он превращается в заметную для них фигуру. Сам Сталин, к сожалению, не оставил интимных заметок о своем первом тюремном опыте, и мы вынуждены искать зерна истины в безудержном славословии холуев, создававших «для народа» героические картины вроде той, в которой будущий вождь, читая «Капитал» Карла Маркса, идет сквозь строй вертухаев, избивающих несчастных заключенных, не обращая внимания на наносимые ему побои. Применялись ли какие-либо побои к товарищу Сталину лично, доподлинно неизвестно. Скорее всего нет. Более того, вождь мог, на наш взгляд, сделать вывод о недопустимой мягкости спецслужб на закате

абсолютизма в России и о возможности сыграть с ними в какую-нибудь игру. Более того, не исключено, что именно тогда он дал себе зарок: если от него в будущем будут зависеть какие-нибудь спецслужбы, то он уж никакой мягкотелости не допустит, поскольку точно знает, что «битье определяет сознание».

И, как мы теперь знаем, он сделал это, вырастив несколько поколений уникальных дознавателей, не только самих себя воспроизводящих, но и самих себя уничтожающих. Один реабилитированный — знакомый моих знакомых — рассказывал в тот непродолжительный период совковой истории, когда рассказывать такое было можно, что он, когда за ним в конце 37-го пришли, вернее — приехали, очутившись в распоряжении двух бугаев-следователей, зная, что за этим должно последовать, сказал:

— Ребята! Я вас понимаю, поймите и вы меня. Я вам все свои признания немедленно подпишу, и закончим на этом дело.

Ребята достали подготовленный следователем-сюжетчиком текст «признания», в котором «враг народа» сообщал, что его еще в 20-х годах в подпольном одесском катране на Слободке завербовали в шпионы княжества Монако, и он его подписал в предвкушении спокойного отдыха в одиночке внутренней тюрьмы. Но ребята почему-то не торопились вызывать охрану. Потом один сказал другому:

— Слушай, тебе не кажется, что этот еврей («враг народа» был не только коммунистом-центристом, но и евреем) хочет нас надуть и уклониться от обязательной, специально одобренной великим Сталином процедуры?

— Ты, пожалуй, прав, и мы не допустим, чтобы какой-то жид над нами издевался!

После этого они его беззлобно избили до потери сознания, а потом привели в чувство, дружно помочившись на его физиономию. Когда же в процессе реабилитации он спросил, а что будет с его палачами, ему сообщили, что их шлепнули в начале 39-го и теперь им уже «ничего не будет».

Это все-таки были рядовые трудяги, но в массе сталинских орлов, работавших в заплечной отрасли, были и легендарные личности, одной из которых приписывалось такое, например, высказывание:

— Если ко мне вечером приведут самого Карла Маркса, то к утру он у меня сознается, что он — шпион Бисмарка!

Такое генерал-майору Стопчанскому из Кутаисского губернского жандармского управления даже не снилось, хотя и ему Карл

Маркс в лице имеретинских марксистов немного мешал спокойно жить.

В порядке отступления скажу, что я по натуре не кровожаден и всё в своей жизни стараюсь делать во имя Милостивого и Милосердного, но мне было бы очень приятно, если бы Карл Маркс и Фридрих Энгельс с их идиотским «Манифестом коммунистической партии» в руках на одну ночь действительно оказались бы в распоряжении вышеописанного специалиста. В конце концов, всякому полезно увидеть плоды своего труда, а тем более почувствовать их на своей шкуре. Прав был пророк Мухаммад, говоря, что иногда следует судить за намерения, прав и Тот, Кого он считал одним из своих предшественников: «...по вере вашей да будет вам» (Мф, 9, 29).

Что касается первого личного знакомства Сталина с «органами» времен его молодости, то оно, как известно, закончилось первой ссылкой, о чем также сохранились соответствующие документы. Вот один из них.

«ДОНЕСЕНИЕ ПРОКУРОРА ТИФЛИССКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ, ТИФЛИССКОМУ ГУБЕРНАТОРУ

25 ИЮЛЯ 1903 г.

Вследствие отношения, от 24 сего июля, за № 3275, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что согласно двум ВЫСОЧАЙШИМ повелениям, воспоследовавшим 9 сего июля, подлежат высылке: а) в Восточную Сибирь: Виктор *Курнатовский* и Ипполит *Франчески* на 4 года; Сильвестр *Джибладзе*, Николай *Домостроев*, Полиевит *Каландадзе*, Василий *Цабадзе*, Георгий *Караджаев*, Захарий *Чодришвили*, Георгий *Чхеидзе*, Калистрат *Гогуа*, Иосиф *Джугашвили*, Аракел *Окуашвили*, Михаил *Гурешидзе*, Поликарп *Мачарадзе*, Северьян *Джугели* и Ясон *Мегрелидзе* на 3 года; б) в Архангельскую губернию: Владимир *Джибладзе*, Мирон *Савченко*».

На этом письме имеется резолюция то-ли самого губернатора, то ли какого-нибудь его высокого столоначальника, ответственного за прохождение почты в канцелярии:

«СЕКРЕТНЫЙ СТОЛ.

Сейчас же: а) проехать в губ. жанд. управление, узнать адреса и проверить приставам сегодня же задержать и направить в Метехский замок; b) заготовить все документы сегодня же.

(Подпись)»

Эта резолюция свидетельствует о том, что губернатор и его челядь не были уверены, что поименованные прокурором нарушители спокойствия арестованы, и не исключали возможности, что все они или некоторые из них спокойно попивают кахури или цоликаури в домашнем кругу или в духанах.

Что касается Джугашвили, то вина Грузии сухие он в то время не пил, поскольку по сведениям Главного тюремного управления Министерства Юстиции в Санкт-Петербурге он находился в Батумской тюрьме, и потому это славное управление перенаправило «Господину Военному Губернатору Батумской области» свой пересказ вышеупомянутого «Высочайшего повеления».

«17 АВГУСТА 1903 г.

А. На основании Высочайшего повеления, последовавшего 9 июля 1903 года по всеподданнейшему докладу Министра Юстиции, крестьянин Иосиф Виссарионов *Джугашвили,* за государственное преступление, подлежит высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции сроком на три года.

Б. Вследствие сего Главное Тюремное Управление имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о высылке помянутого Джугашвили, содержащегося в Батумском тюремном замке, в ведение Иркутского Военного Генерал-Губернатора, через Новороссийск, Ростов, Царицын и Самару с очередной арестантской партией.

Прилагаемое при сем извещение Департаментом Полиции за № 9520 подлежит возвращению, по предъявлении названному лицу, непосредственно в означенный Департамент.

За Начальника Главного Тюремного Управления (подпись)

Инспектор (подпись)»

Тут, впрочем, опять случился конфуз, свидетельствующий о бардаке, царившем в «органах» того времени: оказалось, что не только в Главном тюремном управлении Минюста, но и на местах не знали, что Джугашвили 19 апреля 1903 г. был переведен из Батумской в Кутаисскую губернскую тюрьму, и начали его

искать в тифлисской тюрьме Метехи. Наконец к началу сентября 1903 г., то есть за полтора месяца, во всем разобрались и стали формировать «очередную арестантскую партию». Завершим показ документов донесением «вр.и.д. батумского полицмейстера», отражающим поиски местонахождения Джугашвили:

«4 СЕНТЯБРЯ 1903 г.

Возвращая при сем извещение за № 9520, имею честь сообщить Канцелярии Военного Губернатора, что Иосиф *Джугашвили* состоял в Батумской тюрьме до 19 апреля текущего года и затем был отправлен, в числе других арестантов, в Кутаисскую тюрьму.

Справка: Прилагаемое извещение препровождено было мне при предписании Его Превосходительства от 29 августа за № 213.

(Подпись)»

Так начиналось первое знакомство товарища Сталина с просторами страны, которой ему предстояло управлять, и так начинался первый эпизод его молодой жизни, с которым многие злопыхатели связывают начало его тайных неуставных взаимоотношений с охранительными службами царского режима.

Человечество любит тайны. Казалось бы, какая разница, кто написал «Тихий Дон» — Шолохов или, там, Щелоков. Важно, что этот великий роман существует, но в пустых спорах о том, кто его автор, изведены тонны бумаги. То же можно сказать и о пьесах Шекспира, чье авторство уже несколько столетий вызывает сомнения, выливающиеся на тысячи страниц убедительного текста. Убедительного — «за» и не менее убедительного — «против». Примерно то же творится вокруг «Дон Кихота». Зачем? Ведь эти споры не отражаются на качестве радующих нас шедевров... Похожая ситуация с отношением к возможным «грехам молодости» Сталина: разве от того, был или не был он полицейским осведомителем или агентом охранки в молодые годы изменятся итоги и последствия Ялтинской конференции? Для современного человека все эти давние подробности значат значительно меньше, чем ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. И тем не менее хочется знать. Несколько лет назад я написал книгу «Достоевский: призраки, фобии, химеры». Само по себе название говорит, о чем эта книга. Были сдержанные отклики, было даже предложение на одной из литературоведческих конференций запретить в печати касаться негативных ситуаций в биографиях великих людей, было

молчание различных «обществ Достоевского» (такие «общества», на мой взгляд, создаются лютыми ненавистниками России, которые хотят видеть в галерее образов моральных уродов, истериков, истеричек, психопатов и преступников «глубинную сущность» русского народа и убедить в этом весь мир). Но один мудрый человек, сделавший за свою жизнь для русской литературы больше, чем все литературоведческие конференции, повздыхав над содержанием моей книги в своей заметке в одном из литературоведческих журналов, закончил ее словами: «но мы должны это знать» (цитирую по памяти). Возможно эти слова следует отнести и к прошлому человека, который никак не уходит из нашей жизни: мы должны это знать! Хотя знание, как сказал Сулайман ибн Дауд, лишь умножает печаль.

Путеводной звездой в нашем путешествии по дореволюционному прошлому вождя народов будут документы, опубликованные в книге современного историка Александра Островского «Кто стоял за спиной Сталина» с подзаголовком на обложке «Тайны революционного подполья» (Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева»; Москва, издательство ОЛМА-ПРЕСС, 2003).

Это удивительная многосторонняя книга!

Одна ее сторона отражает героические попытки ее автора отстоять упомянутый пятый бастион совкового патриотизма и с архивными и иными документами в руках доказать, что у молодого Сталина никаких порочащих его взаимоотношений с царскими охранительными учреждениями не было.

Вторая ее сторона состоит в том, что эта книга действительно и независимо от целей ее автора является уникальным собранием разного рода свидетельств, позволяющих восстановить многие события дореволюционной жизни Сталина в их фактической последовательности.

Третья ее сторона и главная особенность в том, что почти все материалы, в которых автор этой книги видит убедительные доказательства отстаиваемой им версии джентльменского поведения молодого вождя, при более пристальном их рассмотрении, увы, свидетельствуют об обратном: играл бывший семинарист с полицией свои тайные игры, в чем убедится каждый, кто внимательно и непредвзято их рассмотрит.

Именно это, почти не выходя за рамки книги А. Островского, мы попытаемся сделать в следующих главах данного романа, расчленив дореволюционную жизнь товарища Сталина на серию эпизодов. Итак, расчлененка начинается. Однако перед этим — лирическое интермеццо в две-три странички.

ГЛАВА V.
Тысяча девятьсот третий год. Лирическое интермеццо

Я всё жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.
А. Чехов. Вишневый сад

Не раздобыть надежной славы,
Покуда кровь не пролилась.
Б. Окуджава

Отшумел 1902 год, когда товарищу Сосо впервые в его удалой жизни посчастливилось практически лично «организовать» кровопролитие, подставив батумских рабочих под солдатские пули. Конечно, батумская кровь по своему количеству и качеству несопоставима с потоками этой субстанции, ожидавшими осчастливленную им часть человечества в будущем, но лиха беда начало. Теперь уже никто в бандитско-революционных кругах не скажет, что он вместо ожидаемого кровопролития чижика съел. В то же время отвечать за свои зверства по полной в его планы не входило. Когда убивали людей, имевших свои семьи, своих близких, товарищ Сосо спрятался так глубоко, что мог после ареста в 1903 году взывать из темниц к милосердию власть предержащих, сначала притворяясь больным, потом — как единственный сын у своей одинокой и больной матери.

Ну вот, товарищ Сосо сидит в тюрьме, готовясь к отбытию в административную ссылку, а я, спустя сто шесть лет — осенью 2009 года — сижу за столом и листаю толстую книгу под названием «Доклады по делам, назначенным к слушанию Тифлисской Городской Думы, 1903 г.» (Тифлис, Электропечатня Грузинского Издательского товарищества. Большая Ванская ул., 1903) и перед моими глазами течет повседневная жизнь большого интернационального города — одного из самых любимых мной городов на Земле. Мелькают милые топонимы, звучащие для меня как музыка: Дидубе, Ортачалы, Авлабар, Вери, Майдан... Кто-то просит землю под застройку, кто-то жалуется на соседей, нарушающих прочность дома и т. д., и т. п. Тифлисская Управа озабочена

необходимостью отвода земли в Навтлуги для кладбища военного госпиталя и Михайловской больницы и предлагает выделить для этой цели территорию в таких пропорциях:

— под православное кладбище — 15 десятин;
— под армяно-григорианское — 17 десятин;
— под католическое — 6 десятин;
— под лютеранское — 6 десятин;
— под магометанское шиитское — 2 десятины;
— под магометанское суннитское — 2 десятины;
— под еврейское — 1 десятину;
— под молоканское — 1 десятину.

Так что и мертвые не обойдены заботой живых. Пройдет несколько лет после этого решения Управы, и 7 августа 1909 года из тифлисского ночлежного дома в Михайловскую больницу будет доставлен Бесо Джугашвили, который через пять дней — 12 августа — умрет в ее стенах от цирроза печени, как и положено запойному пьянице-сапожнику. Похоронят его на тех самых пятнадцати православных десятинах кладбища, выделенных управой для Михайловской городской больницы, но точно указать место захоронения не смог даже его собутыльник — сапожник Егор Незадзе — последний, кто видел его живым. Так неблагодарное человечество лишилось возможности поклониться могиле отца нашего гения всех времен и народов. Впрочем, самого гения судьба его отца никогда не интересовала. У него были другие заботы — он ковал наше с вами счастье в горниле революций.

Сам я на этом кладбище не был, но когда грузины говорят о своих покойниках, я вспоминаю Сабурталинское кладбище в Тбилиси, где похоронены близкие моей жены. Помню, что оно оставляет светлое впечатление — в этом уголке Земли нет тревог. Там живут удовлетворение прожитым и вера в будущие встречи. На темных камнях светлые очертания лиц. Богатые и бедные могилы соседствуют в мире. Душу обволакивает грустное веселье. Вспоминаются даже грузинские кладбищенские анекдоты, вроде того: стоит перед добротным памятником задумавшийся грузин.

— О чем задумался, дорогой?— спрашивает его подошедший родственник покойного.

— Как же так: вот здесь — годы жизни уважаемого Котэ — «1920–1999», а тут написано: «Прожил шесть лет»?

— Понимаешь, дорогой, наш уважаемый Котэ считал временем своей жизни только те шесть лет, когда он заведовал продуктовой базой!

Жаль, что я сам не планирую своей могилы на Земле: мой прах должен быть развеян в указанных мною местах, но если бы мне ставили памятник, я бы по примеру уважаемого Котэ попросил бы указать в качестве времени моей жизни только годы, прожитые мной после падения ненавистного мне режима, установленного в моих краях товарищем Кобой и его соратниками. Вернемся, однако, в Тифлис 1903 года.

Не забыты были в нем и духовно-эстетические потребности населения: господину Исправляющему должность Тифлисского губернатора сообщают, что в местном Ремесленном училище «взрослые юноши (ученики III класса) питаются чтением Майн-Рида. Чтение не организовано. Духовные интересы юношей находятся в пренебрежении: они не только не воспитываются, но и развращаются пустотой содержания или ложными предложениями». Однако заведующий училищной библиотекой при «проверке фактов» выражает несогласие с этими замечаниями и сообщает, что с 1 сентября по 15 января было 1322 выдачи книг, «из коих лишь в 15 случаях сочинения Майн-Рида; чаще всех читаются произведения Пушкина, Тургенева, Гоголя, Лермонтова, Гончарова, Григоровича и др.».

Задолго до ленинского плана ГОЭЛРО тифлисские думцы тщательно изучают возможности строительства гидравлической электростанции на Куре, всесторонне сравнивают ее с вариантом строительства тепловой (паровой) электростанции для электроснабжения Тифлиса, находя при этом время для разбирательства попыток некоей Мелании Пурцеладзе присвоить кусок городской земли...

В общем, город жил привычной жизнью. Не всем в нем жилось хорошо, но так уж был устроен свет, и тем, кому было плохо, помогала благотворительность, также присутствующая в «Докладах» Тифлисской Думы, и на добрые перемены в будущем оставалась надежда. Не случайно ведь помещён там доклад о перспективах развития, говоря нынешним языком, инфраструктуры Тифлиса аж до 1930 года. И кому это мешало?

Но, как говаривал в свое время царь Соломон, «если Господь не охранит города, то напрасно бодрствует страж». И мудрый еврей был прав: напрасно многочисленные стражи пытались охранить этот город, Господь почему-то просмотрел и не воспрепятствовал появлению в мире другого еврея по имени Мордехай Леви. Мордехай начал с ненависти к своей матери, с нетерпением ожидая, когда она умрет, чтобы завладеть наследством, продолжил свое восприятие мира ненавистью к соплеменникам-евреям,

публично призывая к их истреблению, а закончил ненавистью ко всему человечеству, для которого он (под именем Карла Маркса) изобрел примитивную зоологическую философию «освобождения», требуя, чтобы глупые народы всего мира признали его нововявленным мессией. Некоторые признали. Это было отвратительное существо — возомнивший о себе хам с явными признаками вырождения. В своей относительно долгой жизни он проработал всего несколько дней, а всю остальную жизнь был побирушкой, питаясь и содержа семью за счет Энгельса. Его жизнь — это яркий пример придуманного им «абстрактного труда», на котором этот прощелыга создал все свои идиотские теории.

Отсутствие личного опыта конкретного труда в работающем коллективе, того самого труда, который, по мнению его содержателя и кормильца Энгельса, сделал из обезьяны человека, привело к тому, что человеком в полном смысле этого слова Мордехай-Карл так и не сумел стать. Этот бездельник, изолированный от нормального человеческого общества, не знал элементарных основ человеческой психологии, по законам которой любой «пролетарий» или люмпен, получив реальную власть, сразу же перестает быть «пролетарием» или люмпеном и приобретает отнюдь не пролетарские замашки морального урода, не сдерживаемого гуманными традициями, впитавшими бесценный опыт многих поколений людей, несших бремя власти в многовековом процессе эволюционного развития этого института. Таким образом, придуманная Мордехаем «пролетарская революция» (о которой так долго говорили большевики) нарушает естественный процесс совершенствования человечества, содержащий в себе единственный путь спасения.

Отвлечение внимания читателя на Мордехая хочу завершить упоминанием об одном удивительно феномене: я обратил внимание на то, что обрусевшие инородцы (термин нашего дорогого Ильича), становясь выдающимися русскими литераторами, обретают в некоторой степени дар пророчества. В начале этой книги я уже писал о предсказании прихода Семинариста Ф. Достоевским, есть некоторые пророческие мотивы и у Н. Карамзина (я имею в виду кое-что в его записке о древней и новой России), в случае же с Мордехаем можно обратиться к Н. Гоголю: весьма четкое предвестие о приближении этого исторического персонажа содержится в «Тарасе Бульбе». Всемогущий Мордехай (у Гоголя он именуется «Мардохай») появляется в варшавских сценах этой повести и произносит замечательную фразу: «Когда *мы* да Бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно!»

В этой фразе, конечно, если исключить из нее опиум для народа в виде Бога, заменив его словом «пролетариат», уже ощущается поступь Призрака, шагающего по Европе. Чтобы мы не сомневались, о ком идет речь, Гоголь сообщает, что лицо Мордехая было в шрамах: Мордехай-Карл, как известно, в молодости буршиковствовал и с гордостью носил на своей морде следы студенческих дуэлей. Вот так, господа.

Однако простота пути ко «всеобщему счастью» («отнять и поделить») и проповедуемый им философский примитивизм привели к нему многих последователей, часть которых, впрочем, только шныряла вокруг и в массе «истинных марксистов», стремясь поймать свою рыбку в мутной воде, взболтанной этим грязным отравителем колодцев человеческого духа.

К какой же части этих «последователей» принадлежал наш товарищ Сталин?

Скорее всего, к чисто бандитской фракции, возникшей в сонме последователей вышеописанного гуру. Наш вождь обладал всеми чертами характера, присущими высшим уголовным авторитетам и крестным отцам,— чисто шизоидными качествами: погруженность в свой внутренний мир, нонконформизм даже в житейских мелочах, неспособность к сопереживанию, нелюдимость, замкнутость и т. п. Конечно, по сравнению с «основоположником», он был работягой: честным трудом получая 20—25 рублей в месяц, он в своей жизни проработал целых 14 месяцев, после чего стал «партийным» нахлебником-«функционером». Замечателен в свете этого факта ответ, данный его сыном Яковом (жившим в гражданском браке с еврейкой) на вопрос немецких нацистов об отношении к евреям. Яков сообщил, что в его семье (очевидно, включая товарища Сталина) всегда считали евреев нацией, не приспособленной к полезному труду. Видимо, писанину своего папаши Яков относил к «полезному труду». Чтобы охарактеризовать степень полезности сталинских скрижалей, дадим здесь окончание сталинской оды Павла Васильева, первые строки которой использованы в качестве эпиграфа к этой книге:

В уборных вывешивать бы эти скрижали...
Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами
И в жопу лавровый венок воткнем непременно!

При всем своем двойственном личном отношении к Сталину, с оценкой Павлом Васильевым его «литературного» наследия я абсолютно согласен и готов распространить эту оценку на все

прочие сокровищницы марксистской научной, философской и политической мысли.

В связи с вышеизложенным стоит напомнить, что некий Еврей из Вифлеема, с тенью Которого так настойчиво и бесславно боролись и сам Мордехай, и его интернациональная шайка, прежде чем выйти к людям со Словом Господа, более десяти лет работал плотником в Назарете.

1903 год в этом интермеццо я выделил не только потому, что у меня случайно оказалась упомянутая книга «Доклады Тифлисской Городской Думы» этого года издания, и не потому, что это был последний относительно мирный год перед позорной русско-японской войной и «первой русской революцией». Для меня этот год имеет сугубо личное значение: в 1903 году в относительно далекой от Тифлиса Одессе родились мои мать и отец, и то, что происходило в то время в подполье Закавказья и в подполье всей Российской империи, исковеркало их жизни. Журналюги, русскоязычные политики и политологи новейшего времени любят покрасоваться перед зрителями и слушателями, поминая «типично русские», как им кажется, вопросы «Что делать? и «Кто виноват?» Для меня всегда более типичным для империи Зла был вопрос «За что?» Подумайте и прикиньте, сколько миллионов раз можно повторить этот вопрос, изучая историю этой империи.

Моя мать родилась и выросла в пролетарском районе Одессы — на знаменитой Молдаванке, и вся ее жизнь до последних дней была пронизана стойкой пролетарской ненавистью к тому режиму, который она именовала «совецкиной властью». Отец мой погиб в Харьковском котле, где три идиота, не имевшие элементарных военных способностей, уложили более полумиллиона человек. Сам же я никогда не возвышал «совецкину власть» до уровня своей ненависти: я презирал ее и всех ее носителей и старался ее не касаться, как любой нормальный человек старается не вступить в собачье дерьмо.

В стране, в которой мне пришлось жить, я был не одинок в своем презрении к власть в ней предержащим. Мы узнавали друг друга по глазам, по интонациям в дозволенных речах, и мы умели быть откровенными, когда позволяли обстоятельства. Во время одного из таких обстоятельств в годы плавного перехода от «развитого социализма» к «эпохе застоя» я услышал не от «международного сиониста», а от качественного по пятой графе «простого советского человека такую притчу:

Притча о счастье

Берег спокойной речки. Три возлюбленные пары. Поскольку «товар» по согласию был уже разобран, в женской части этого временного коллектива царят спокойствие, мир и такое редкое состояние, как светлая женская дружба. Умелые женские руки споро создают временный уют, накрывая, как теперь говорят, поляну. Наконец все готово, и хорошо пошла первая рюмка «за всех присутствующих!» После третьей закурили и передохнули.

— Хорошо-то как! Это ли не есть счастье?! — восторженно сказал Леша.

— Не знаю, как вам, а мне для полного счастья нужно, чтобы было так: мы вот так сидим среди этой красоты на берегу, а мимо нас плывут гробы с деятелями из совпартактива, членами Политбюро, министрами и прочими руководителями партии и правительства,— охладил его пыл Федя.

— Но среди них же есть хорошие люди! — возмутился Саша.

— Знаю! — ответил Федя и продолжил: — Ребята, за кого вы меня тут держите? Я же не зверь и потому согласен: хорошие пусть плывут в хороших гробах!

Эта притча была рассказана на берегу Южного Буга под ушицу и водочку, под шум воды на тогда еще не затопленных порогах и под зеленый шум ветра в прибрежной роще, шум, успокаивающий сердце и душу. И мы все-таки выпили за счастье, хотя каждый понимал этот тост по-своему. Да и в самой этой притче светится древняя китайская мудрость, следуя которой нужно ничего не предпринимать, устроиться на пригорке и терпеливо ждать, когда мимо тебя пронесут труп твоего врага.

ГЛАВА VI.
Эпизод первый — первый побег и возвращение в родные края

Когда Джугашвили отбыл по этапу к месту своей первой ссылки доподлинно неизвестно. Есть сведения о том, что он до этого во второй половине августа 1903 г. был возвращен в Батумскую тюрьму, но они маловероятны, так как противоречат приведенному выше письму, по которому только после 3 сентября 1903 г. те, кому следовало реализовать «Высочайшее повеление», узнали, что он находится в Кутаисской тюрьме. Имеются еще несколько возможных дат начала этапа, но наиболее вероятной из них представляется та, которую указала в своих записках несостоявшаяся интимная подруга Джугашвили — Н. Киртава, освобожденная из тюрьмы 12 ноября 1903 г. и после этого получившая его записку: «Меня отправляют, встречай около тюрьмы». Она его встретила и проводила на батумскую пристань. Этап проходил по маршруту: пароходом Батум— Новороссийск и далее — по железной дороге через Ростов-на-Дону, Самару и Челябинск. Распределительным пунктом был Иркутск.

Дата прибытия Джугашвили в Иркутск указана в сохранившихся документах Иркутского Охранного отделения — 26 ноября 1903 г. и соответствует указанному Н. Киртава времени начала этапа.

Конкретным местом ссылки Джугашвили было определено большое село Балаганского уезда Новая Уда. Ближайшей железнодорожной станцией к нему была Черемхово. Путь к ней лежал через уездный город Балаганск и составлял примерно 145 верст (154 км). Более близкой к Новой Уде была железнодорожная станция Тыреть (120 верст — 127 км). Прибытие Джугашвили в Новую Уду было отмечено в «Журнале административно-ссыльных» Новоудинского волостного управления 27-м ноября 1903 г. В это время в Новой Уде было трое ссыльных — Янкель-Мойша Закон, Иероним Линкевич и Абрам Этингоф, но своих воспоминаний о новом «сокамернике» они не оставили. Джугашвили это общество, видимо, тоже не устраивало, и он сразу же после прибытия в Новую Уду стал готовиться к побегу. Известны три рассказа товарища Сталина о первом этапе его побега по маршруту «Новая Уда — не указанная вождем железнодорожная станция».

Рассказ первый: обнажив кинжал (какой же джигит без кинжала!), он заставил первого подвернувшегося крестьянина отвезти его на не названную вождем железнодорожную станцию (это минимум 120 верст, т. е. более 1 дня пути с отдыхом для лошади), где отпустил своего «заложника», дав ему в награду 3 рубля.

Рассказ второй: товарищ Сталин, используя общий, вызванный его появлением в Новой Уде энтузиазм населения, уговорил одного чалдона отвезти его на станцию Зима с условием, что на каждой остановке в пути он, товарищ Сталин, будет выставлять своему добровольному ямщику «пол-аршина водки» (в метрической системе это емкость высотой 35,5 см, т. е. имеется в виду 0,75—1 л водки, стоимость такой бутылки не превышала одного рубля). По прибытии на станцию товарищ Сталин послал чалдона за билетом, потом спокойно сел в поезд и уехал.

Рассказ третий: товарищ Сталин увлек одного из новоудинских ямщиков обещанием подать жалобу на какого-то балаганского начальника, и тот ради этого согласился отвезти его до железной дороги.

Все эти три рассказа — явное фуфло, не заслуживающее никаких комментариев.

Еще одна версия побега неожиданно появилась через 44 года, когда в Кремль пришло следующее письмо:

«Москва. Кремль.
Генералиссимусу Советского Союза
товарищу Сталину И. В.

Я глубоко извиняюсь, что беспокою Вас. В 1903 г., когда Вы были в ссылке село Новая Уда Иркутской губернии Балаганского уезда, в то время жили у меня на квартире. В 1904 г. я увез Вас лично в село Жарково по направлении станции Тырет Сибирской железной дороги, а когда меня стали спрашивать пристав и урядник, я им сказал, что увез Вас по направлению в г. Балаганск. За неправильное показание меня посадили в каталажку и дали мне телесное наказание — 10 ударов, лишили меня всякого доверия по селу. Я вынужден был уехать из села Новая Уда на ст. Зима Сибирской железной дороги.

В настоящее время я пенсионер 2 группы. Пенсию получаю 141 р. в месяц. Подавал заявление в Министерство социального обеспечения, получил отказ. Поэтому прошу Вас, как бывший партизан Якутского партизанского отряда, где был 3 раза ранен, потерял здоровье, получил инвалидность 2 гр., если вспомните

меня, то прошу помочь мне получить персональную пенсию. *Жить еще и еще хочется.*

Дорогой товарищ Сталин, при Вашей доброй памяти, прошу написать мне письмо как бывшему старому партизану, а Вашему старому хозяину квартиры, где Вы жили село Новая Уда Иркутской губернии Балаганского уезда. Я надеюсь, что Вы меня не забудете и поможете получить персональную пенсию.

Ваш старый хозяин квартиры Кунгуров Митрофан Иванович.

г. Барабинск Новосибирской области, ул. Некрасова, 15.

Ожидаю от Вас письма.

11 мая 1947 г.»

Письмо Кунгурова генералиссимус прочел и поручил ИМЭЛ (Институт Маркса—Энгельса—Ленина, в 1953 г. на некоторое время стал ИМЭЛСом — Институтом Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина) ответить бывшему партизану, что он его не помнит, а заодно узнать у него подробности его, товарища Сталина, собственного побега (!). Такая забывчивость Сталина у нормального человека могла бы вызвать удивление, если не учитывать того, что сам вождь в 1947 году после нескольких микроинсультов не всегда бывал нормален и адекватен происходящему вокруг него да и во всем мире. Сам партизан тоже не всё помнил: из села Новая Уда он уехал через три с лишним года после бегства Джугашвили, а «села Жарково по направлению станции Тырет» вообще не существовало. Переписки с вождем у Кунгурова не получилось: вскоре в ИМЭЛ, выполнявший поручение генералиссимуса, поступила из Новосибирска информация о внезапной кончине несостоявшегося персонального пенсионера. Была ли эта смерть формой «помощи», оказанной советскими спецслужбами незваному мемуаристу, или она имела естественные причины, увы, нам неизвестно.

Помимо этой информации, исходящей от вождя или связанной лично с ним, известны еще два эпизода, касающиеся его перемещений по Балаганскому уезду, зафиксированные в неопубликованных воспоминаниях ссыльных пламенных революционеров.

Первой по географическим признакам дадим слово Марии Айзиковне Берковой, которая по просьбе встреченного на улице села Малышевки «товарища М» приютила у себя Сталина на одни сутки, переспав с ним по этому случаю. По ее рассказу, это произошло в одну из первых суббот 1904 г. (воистину: суббота для человека, а не человек для субботы), и более всего ее поразило в

вожде, что в разгар сибирской зимы он странствовал «не в валенках, а в ботинках с галошами». Далее она вспоминает, что на следующий день ее дорогого гостя перевезли на другой берег Ангары в Балаганск.

А о том, что происходило в Балаганске, вспоминает другой пламенный революционер — Абрам Аншелевич Гусинский, коротавший там свою ссылку вместе с супругой Малией Лейбовной, можно сказать, в кругу семьи:

«Ночью зимой 1903 года в трескучий мороз, больше 30 градусов по Реомюру (около 40 градусов по Цельсию.— *Л. Я.*)... стук в дверь. «Кто? «... к моему удивлению я услышал в ответ хорошо знакомый голос: «Отопри, Абрам, это я, Сосо».

Вошел озябший, обледенелый Сосо. Для сибирской зимы он был одет весьма легкомысленно: бурка, легкая папаха и щеголеватый кавказский башлык. Особенно бросалось в глаза несоответствие с суровым холодом его легкой кавказской шапки на сафьяновой подкладке и белого башлыка (этот самый башлык, понравившийся моей жене и маленькой дочурке, т. Сталин по кавказскому обычаю подарил им). Несколько дней отдыхал и отогревался т. Сталин, пока был подготовлен надежный ямщик для дальнейшего пути к станции железной дороги не то Черемхово, не то Тыреть — километров 80 от Балаганска. Документы у него были уже. Эти дни... т. Сталин провел безвыходно со мной и моей семьей».

Логика событий, описанных в этих воспоминаниях, свидетельствует о том, что Малышевка на пути Сталина предшествовала Балаганску, но даты почему-то расходятся: Беркова пишет об «одной из первых суббот 1904 г., а Абрам Гусинский указывает «зиму 1903 г.». Я склонен больше доверять Берковой. Память 22-летней еврейки, бывшей студентки Берлинского университета, мещанки города Елисаветграда, впервые в своей жизни увидевшей грузина и переспавшей с ним, более надежна, чем память обремененного заботами еврея Гусинского. Кстати, товарищ Сталин тоже запомнил незабываемую ночь в Малышевке, потому что Беркова через некоторое время получила от него весточку с Кавказа.

В порядке отступления от главной темы: одна из моих подруг когда-то серьезно уверяла меня, что женщины всегда в первую очередь фиксируют у мужчины состояние обуви, а мужчины — у своих знакомых мужчин — состояние одежды. Воспоминания Берковой, обратившей свое внимание на «ботинки с галошами», и Гусинского, описавшего только верхнюю одежду у Сталина,

подтверждают эту странную мудрость, ранее казавшуюся мне вздором.

Заметим на будущее фразу Гусинского: «Документы у него были уже»,— она нам пригодится.

Далее происходит удивительное: по свидетельству Льва Нусбаума — одного из тех, кто мог свидетельствовать, Джугашвили, добравшись до железной дороги, двинулся с относительно тихой станции не в сторону Кавказа, а, наоборот, на восток — в шумный город Иркутск, где располагались губернское охранное отделение и губернское жандармское управление и где беглому ссыльному, вроде бы, пребывать было опаснее, чем незаметно шмыгнуть в переполненный «зеленый» вагон на каком-нибудь полустанке. Версию Нусбаума развил в начале 50-х вольнонаемный западный публицист в заказанной ему героической биографии вождя-триумфатора (Y. Delbars. The real Stalin.— L., 1951.— P. 42—43), написавший, что, остановившись у какого-то Колотова, Джугашвили где-то выцарапал документы, после чего смог двинуться на Кавказ. Таким образом, получается, что по пути из Новой Уды в Иркутск, когда он пожил пару дней у Абрама, никаких документов у вождя еще не было.

Современного читателя может поразить обилие евреев на сибирском этапе жизненного пути вождя, и он, быть может, вспомнит припев знаменитой советской народной песни:

Евреи, евреи, везде одни евреи.

Возможно, оно поразило и будущего кремлевского горца, и он,— хорошо запомнив, как местечковые евреи типа малышевских поселенцев Суры Абрамовны Бернштейн, Ноя-Неуха Мордуховича Лившица и других легко вписываются в морозные сибирские будни,— поселившись в Кремле и обретя всю полноту власти над страной, в порядке благодарной памяти о приютивших его людях, сначала решил предоставить новую родину этому народу-скитальцу в виде Биробиджанской области — в 1934 г., а потом собрался насильно осчастливить тех, кто не впал в восторженное неистовство от этого подарка и добровольно не схватился за чемоданы, чтобы по собственному желанию махнуть на Дальний Восток. В конце концов принцип добровольности, как известно, главенствовал в империи Зла, а его сущность несколько разъясняет появившийся в той же империи анекдот: происходило международное соревнование на тему, кто сумеет заставить кота съесть чайную ложку горчицы. Француз ласкал кота, спел ему свой шансон, но кот не сдался. Англичанин, учитывая

английскую традицию зоомилосердия, усыпил животное, но кот предвидел неприятности и, засыпая, сомкнул челюсти так, что ложка туда не влезла, и пришлось поставить спящему коту горчичную клизму. Ну а советский человек просто взял ложку и находящейся в ней горчицей смазал коту задницу. Кот, подвывая, сразу же стал вылизывать горчицу, а советский человек удовлетворенно сказал:

— Вот это по-нашему: добровольно и с песней на устах!

Мы, однако, увлеклись личным кругом сибирского общения товарища Сталина, поэтому теперь посмотрим, как его побег отразился в документах охранительных ведомств. Документ есть документ, и поэтому, в отличие от памяти случайной подруги вождя Марии Айзиковны, в нем точно отразилась дата его побега: 5 января 1904 г. Говорят, что кавказец был хитер и посчитал, что в это время вся полиция и охранка страны еще не отойдут от предновогодних (рождественских) праздников и у него будет несколько относительно спокойных дней.

Но он ошибся. Его побег был обнаружен в Новой Уде сразу же утром 6 января. Через несколько часов об этом знали уже в Балаганске, а в 12 часов 10 минут из Балаганска ушла телеграмма Иркутскому охранному отделению. Поскольку фотографий будущего вождя в Балаганске тогда еще не было, телеграмма содержала его словесный портрет: «24 лет, 38 вершков, глаза карие, волосы <на> голове, бороде — черные, движение левой руки ограничено». Портрет, как видим, достаточно точный. Эта телеграмма была направлена в четыре заинтересованные инстанции, в том числе — красноярскому начальнику железнодорожной полиции.

Далее начали медленно крутиться жернова царских спецслужб, и если Департамент полиции был извещен о беглеце Иркутским губернским жандармским управлением уже 7 января, то сам начальник этого управления полковник Левицкий подписал розыскную ведомость на Джугашвили лишь 5 марта 1904 г., когда вождь уже благополучно прибыл на Кавказ, а Департамент полиции включил Джугашвили в свой розыскной циркуляр лишь 1 мая 1904 г., как раз в тот день, когда бедного Сосо на берегу Черного моря в Батуме избивали коллеги — социал-демократы, посчитавшие его чудесный побег признаком сотрудничества с охранкой, но об этом — позже.

В циркуляре Департамента полиции от 1 мая 1904 г. беглый Джугашвили выглядел следующим образом: «родился в 1880 г. Приметы: рост 2 аршина 4,5 вершка, телосложения посредственного, производит впечатление обыкновенного человека, волосы

на голове темно-каштановые, на усах и бороде каштановые, вид волос прямой, без пробора, глаза темно-карие, средней величины, склад головы обыкновенный, лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный. Лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы, на правой стороне нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб, рост умеренный, подбородок острый, голос тихий, уши средние, походка обыкновенная, на левом ухе родинка, на левой ноге второй и третий палец сросшиеся».

Поражает избыточность полицейской информации (не будет же какой-нибудь агент рассматривать голую левую ногу вождя, чтобы обнаружить сросшиеся пальцы — по-народному «копыто»!) и ее несовпадение с приведенной выше балаганской характеристикой в части роста, а также размещение такой важной для фейс-контроля приметы, как родинка, на левом ухе, в то время как в действительности она располагалась на правом ухе. Возникает впечатление, что кто-то в недрах спецслужб оберегал беглеца от лишних неприятностей.

Но главный вопрос — это вопрос наличия у Сталина документа, позволяющего «проскочить» Иркутскую и Енисейскую губернии, где, как мы знаем, о беглеце была предупреждена железнодорожная полиция.

Упоминания о существовании некоего поддельного документа, обеспечившего вождю безопасное передвижение по железным дорогам Российской империи, появились в тридцатых годах, когда на этот раз уже не в узких социал-демократических кругах, а, благодаря многочисленной эмиграции, во всем мире возобновились слухи о сотрудничестве Сталина с царской охранкой. Сначала некие «документы» без указания на их поддельность появились в воспоминаниях всяких «абрамов». Воспоминания эти поступали в архивы, но не публиковались. Как говорил бравый подполковник Климко, читавший нам на военной кафедре курс саперного дела, «эти данные, хотя и не засекречены, но в продаже их нет». Наконец «эти данные» поступили в продажу: в 1937 году вышла уже упоминавшаяся нами книга «Батумская демонстрация 1905 года», где в воспоминаниях старого рабочего Д. Вадачкория содержался такой абзац:

«Помню рассказ товарища Сосо о его побеге из ссылки. Перед побегом товарищ Сосо *сфабриковал* (курсив мой.— *Л. Я.*) удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный субъект-шпион. Чтобы избавиться от этого субъекта, товарищ Сосо сошел на одной из станций, предъявил жандарму свое удостоверение

и потребовал от него арестовать эту подозрительную личность. Жандарм задержал этого субъекта, и тем временем поезд отошел, увозя товарища Сосо...»

В оригинальной рукописи воспоминаний Д. Вадачкория начало рассказа Сталина выглядит несколько иначе:

«Товарищ Сталин рассказал нам, как он бежал из ссылки: товарищ Сталин *заготовил* подложный документ, *подписанный одним из сибирских исправников* (курсив мой.— *Л. Я.*), удостоверяющий... что он якобы агент исправника».

Разночтения как будто бы небольшие, но в рукописи Сталин не *«фабрикует»*, а *«заготавливает»* документ, подписанный одним из сибирских исправников, что могло быть истолковано, как получение подлинного документа от «одного из сибирских исправников», поэтому в этой части текст воспоминаний был выправлен и, скорее всего, лично товарищем Сталиным.

Документ безусловно существовал, иначе Сталин не преодолел бы свой долгий путь назад из ссылки. Вопрос в том, был ли этот документ настоящим или, действительно, поддельным.

Почему вдруг через тридцать лет после первой ссылки вождя не без его одобрения возникла версия существования «поддельного» документа?

Позволю себе сформулировать свою гипотезу такого развития событий. Изданные в 1929 году Приложения к 40-му и 41-му томам энциклопедического словаря Гранат, содержащие биографии и автобиографии деятелей революционного движения в России, были, вероятно, последним общедоступным изданием, где жизнеописания Сталина и Троцкого были размещены рядом. Как писал Маяковский Пушкину,

После смерти нам стоять
Почти-что рядом:
Вы на «П», а я на «М».

Тут еще более рядом: один на «С», другой на «Т» — в третьей части Приложения к 41-му тому. Биографию Троцкого для этого издания написал «В. Невский». Владимир Иванович Невский (он же Кривобоков Феодосий Иванович), тогда член ВЦИК и директор Ленинки, был убит товарищем Сталиным в 1937 году, а его герой — Лев Давыдович Троцкий (он же Бронштейн) пережил его на три года и погиб от руки посланного Сталиным наемного убийцы в 1940 году. Вот как описывает Невский побег Троцкого из первой ссылки:

«Пробыв около двух лет в ссылке в селе Усть-Кут Иркутской губернии, Троцкий в августе 1902 г. бежит через Иркутск в Самару с поддельным паспортом на имя «Троцкого», впоследствии ставшее его общественным псевдонимом (его семейная фамилия — Бронштейн). «Я сам вписал это имя в имеющийся у меня паспортный бланк, — рассказывает Троцкий,— я назвал себя по имени старшего надзирателя одесской тюрьмы». По пути из ссылки Троцкий заводит связи с сибирским социал-демократическим союзом в Иркутске и с центральной группой организации «Искра» в Самаре. Выполнив некоторые поручения этой группы в Харькове, Полтаве и Киеве, Троцкий переходит австрийскую границу и направляется в Вену...»

В биографии товарища Сталина, написанной его адъютантом товарищем Иваном Товстухой, первым биографом вождя, почившим своей смертью в скромной славе и уважении в 1935 году, рассказ о первой ссылке будущего генералиссимуса выглядит более скромно:

«В марте 1902 г. Сталина арестовывают в Батуме и, продержав его в тюрьме до конца 1903 г., высылают на три года в Восточную Сибирь, в Балаганский уезд Иркутской губернии, в село Новая Уда.

Через месяц по прибытии на место ссылки (январь 1904 г.) Сталин бежит из ссылки, приезжает в Тифлис и ведет работу в качестве члена областной организации Закавказья, называвшейся тогда закавказским союзным комитетом».

Примерно так же излагается история первой ссылки в многократно переиздававшемся коллективном труде «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», автором которой, по словам злопыхателей, в значительной мере был сам Иосиф Виссарионович:

«Осенью 1903 года Сталина высылают на три года в Восточную Сибирь, в Балаганский уезд, Иркутской губернии, в село Новая Уда. 27 ноября 1903 года Сталин прибывает на место ссылки. В ссылке он получает письмо от Ленина».

Далее автор биографии цитирует отрывок из сочинения Сталина «О Ленине», свидетельствующий о том, что кремлевский горец был горазд приврать: в качестве начала своей личной переписки с Лениным он поминает подписанный Лениным небольшой циркуляр, адресованный всем-всем социал-демократическим группам и организациям. Одна из копий этого циркуляра достигла Балаганского уезда, и Сталин, как и все прочие адресаты, ее прочитал. Теперь продолжим цитату:

«В ссылке Сталин оставался недолго. Он рвался скорее на свободу, чтобы взяться за реализацию ленинского плана строительства большевистской партии. 5 января 1904 года Сталин бежит из ссылки. В феврале 1904 года Сталин снова на Кавказе, сначала в Батуме, а потом в Тифлисе».

Как видно из всех этих сталинских биографий, ни о каких-либо поддельных документах (да и о сибирских «абрамах») в них нет ни слова. Почему же они все-таки появились в воспоминаниях, в том числе опубликованных? Я полагаю, что «документ» появился по прочтении вождем биографии Троцкого: он подумал, что если какой-то Бронштейн бескартузый, бесштанный Левка смог себе выправить убедительную ксиву, то почему он, горный орел, этого сделать не может. Конечно, для быдла это сгодится, но человек разумный всегда будет помнить о разнице между сыном помещика и нищим кавказцем. Денег, которыми мог снабдить бесштанного Левку отец, вполне хватило бы на то, чтобы натуральный пустой паспортный бланк со всеми печатями ему исправник принес домой, а что мог предложить своим надзирателям, кроме светлого будущего, товарищ Сосо? Ведь Балаганский уезд к моменту пребывания там Сталина уже был местом ссылки нескольких поколений революционеров, сначала народников, а потом и социал-демократов, и мелкая полицейско-жандармская шушера привыкла рассматривать этот принудительный туризм как источник дополнительного дохода. Полезную бумагу они всегда могли продать своим подопечным, но выдать ее даром, если на то не поступило указание свыше, им всегда представлялось противоестественным. Столь же трудно было бы поверить в то, что Сталин без помощи неизвестного финансового спонсора смог преодолеть огромные пространства, поскольку выполненный А. Островским подсчет средств, необходимых для реализации этого мероприятия, оценивает их в 100 рублей — сумму, совершенно неподъемную для бедного грузина.

И наконец, самое подозрительное в истории первой ссылки Сталина состоит в том, что он не бежал, как его революционный собрат Троцкий, подальше от места ареста — в какую-нибудь Самару, а затем и в Веночку, а спокойно прибыл на Кавказ и более того — в Батум, в полиции которого он значился отбывающим сибирскую ссылку, что совершенно недопустимо для опытного и честного революционера. В городе, который он покинул три месяца назад (!), ничего не изменилось, все полицейские и жандармские начальники были на своих местах и среди них всё тот же жандармский ротмистр Джакели, разрушивший надежду

Джугашвили на создание для себя алиби. Джакели также не забыл Джугашвили, о чем свидетельствует его донесение от 16 октября 1905 г., содержащее исторический обзор батумских ситуаций, отрывок из которого приводится ниже.

«ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ВР.И.Д. ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА КУТАИССКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БАТУМСКОЙ ОБЛАСТИ РОТМИСТРА ДЖАКЕЛИ

10 ОКТЯБРЯ 1905 г.

В районе наблюдения помощника начальника Кутаисского губернского жандармского управления в Батумской области только в городах Батуме и Поти существуют социал-демократические организации с Батумским и Потийским комитетами во главе. В других местах Батумской области пока никаких революционных организаций не существует. Потийские социал-демократические организации возникли лишь в 1904 г., но ныне имеют уже от 200 до 500 организованных рабочих. В Батуме социал-демократические организации стали возникать в конце 1897 и в начале 1898 г.; первыми деятелями на этом поприще выступили еврей Георгий Франчески и сухумский мещанин Лузин. Первый из них стал переводить на грузинский язык социал-демократические брошюры при помощи Екатерины Станиславовны Согоровой (ныне она находится в Париже и примкнула к социально-федералистической партии «Сакартвело») и Карла Чхеидзе, смотрителя Батумской городской больницы, приказчика завода Ротшильда Михаила Каландадзе. Но с арестом Лузина, Франчески и Каландадзе в 1898 г. (дознание велось в г. Тифлисе), развитие социал-демократических организаций замедлилось. Но оно сделало большие успехи, когда осенью 1901 г. «Тифлисский Комитет Рос. соц. — дем. раб. партии» командировал в г. Батум для пропаганды между заводскими рабочими одного из своих членов Иосифа Виссарионова Джугашвили, бывшего воспитанника 6-го класса Тифлисской Духовной Семинарии. Благодаря деятельности Джугашвили и по временам наезжавшим из Тифлиса пропагандистам скоро стали возникать на всех батумских заводах социал-демократические организации, вначале имевшие главою Тифлисский Комитет. Плоды социал-демократической пропаганды уже обнаружились в 1902 г. продолжительною забастовкою в г. Батуме на заводе Ротшильда и в уличных беспорядках, причем 9 марта произошло первое столкновение между войсками и толпою у пересыльной части, причем было убито 15 рабочих и ранено около 20 человек...»

Так на чью же защиту мог рассчитывать Джугашвили, возвращаясь в места своих столь результативных революционных упражнений? Такого рода вопросы волновали или вызывали недоумение у тех, для кого ответ на них был значительно важнее, чем для нас с вами, дорогой читатель этой книги.

ГЛАВА VII.
Эпизод второй, или Трудная жизнь Иосифа Виссарионовича Джугашвили с клеймом полицейского осведомителя и провокатора

Дата прибытия Джугашвили на Кавказ устанавливается по зафиксированному времени пребывания в Тифлисе Льва Борисовича Каменева (он же Розенфельд), у которого в ночь с 5 на 6 января 1904 г. был произведен обыск, после чего этот пламенный революционер покинул Тифлис не позднее 25 января. Известно, что перед своим отъездом Каменев встретился с Джугашвили и даже помог ему с временным жильем в Тифлисе. Таким образом, Джугашвили должен был прибыть в Тифлис не позднее 20-х чисел января, что соответствует транспортным возможностям того времени. Следует отметить, что с тех пор у товарищей Сталина и Каменева установились самые добрые отношения. В своих письмах Сталин обращался к нему, как и к Гришке Зиновьеву, со словами «Дорогой друг». Венцом этой дорогой дружбы стало убийство дорогих друзей, осужденных по «делу троцкистско-зиновьевского объединенного центра». Товарищ Сталин к судьбам своих дорогих друзей был внимателен до конца и, пируя в кругу своих полулюдей-соратников, искренне веселился, слушая рассказ о том, как их расстреливали и как «визжал» при этом дорогой друг Гришка. Рассказ этот настолько тешил душу вождя, что он требовал его повторения на бис. Вождь вообще любил тешить себя повторами любимых зрелищ и песен.

Но это будет потом. А тогда, в январе 1904 г., в Тифлисе было неуютно, потому что начавшиеся в январе аресты продолжались до

двадцатых чисел этого месяца, и «взяться за реализацию ленинского плана строительства большевистской партии» кавказскому вождю было просто не с кем. Поразмыслив, товарищ Сосо решил заняться «строительством большевистской партии» в Батуме, но у него не было денег на билет, стоивший 1 рубль 50 копеек. Знакомые батумские рабочие собрали для него эту сумму, и, получив ее, вождь прибыл в Батум. Точная дата этого его приезда в Батум неизвестна. Напомним, что в «Краткой биографии» вождя говорится:

«В феврале 1904 года Сталин снова на Кавказе, сначала в Батуме, а потом в Тифлисе». Первый биограф товарища Сталина — товарищ Иван Товстуха — в своем очерке для энциклопедического словаря братьев Гранат (1929) вообще опустил пребывание вождя в Батуме в первой половине 1904 года. У Товстухи: «Сталин бежит из ссылки, приезжает в Тифлис и ведет работу в качестве члена областной организации Закавказья». Дело в том, что, несмотря на свою молодость, товарищ Иван Товстуха побывал подпольщиком и потому хорошо понимал, что беглый ссыльный, четыре месяца назад еще находившийся в Батумской тюрьме, не мог себе позволить возвратиться к началу своего «крутого маршрута», не имея при этом достаточно сильного тайного покровителя, и потому обошел молчанием эти страницы жизни своего героя. Как мы скоро узнаем, обошел не зря.

Его второй биограф — академик Емеля Ярославский (он же Миней Израилевич Губельман), известный борец с Библией, отделался от этого скользкого вопроса длинной цитатой из уже опубликованных в книге «Батумская демонстрация» (конечно, внимательно прочитанной вождем) воспоминаний Н. Киртавы:

«Наступил 1904 год. Как-то раз, уже после полуночи, я услышала стук в дверь. Спрашиваю: «Кто там?» — «Это я, открой».— «Кто ты?» — снова переспросила я.— «Я, Сосо!»

Я не поверила, пока <он> не произнес наш пароль: «Да здравствует тысячу раз».

Я спросила его, каким образом он вернулся в Батум. «Бежал»,— ответил товарищ Сосо.

Вскоре он уехал в Тифлис. Оттуда мы получали от него письма. Товарищ Сталин руководил тогда Кавказским союзным комитетом.

Весной 1904 года товарищ Сосо снова приезжал в Батум. Тогда в Барцхане, в доме Илико Шарашидзе, он проводил дискуссии с меньшевиками».

(Акад. Е. М. Ярославский. О товарище Сталине.— М.; Л.: Изд-во Академии наук Союза ССР, 1942.— С. 22.)

Как видим, свидетельство Киртавы тоже практически лишено каких-либо подробностей батумских вояжей вождя в малоприятном для него 1904 году, но из него всё же следует, что их было два — один зимой (по его словам — прямо из ссылки), другой — весной. Что же происходило во время этих приездов?

Из воспоминаний Киртавы была вычеркнута следующая фраза, относящаяся к первому приезду Сталина в Батум в 1904 г.: «На второй день (после прибытия.— *Л. Я.*) Сосо дал знать комитету о своем приезде и желании продолжать работу». Однако комитет решил не использовать «вождя». Далее Н. Киртава сообщает: «Меня же Рамишвили вызвал в комитет и стал кричать: «У тебя остановился Джугашвили?» — «Да»,— отвечаю.— «Должна прогнать его из дома, в противном случае исключим тебя из наших рядов»». Так Джугашвили стал бомжем и целый месяц слонялся по разным квартирам, пользуясь милостью знакомых, принимавших его на ночлег. А потом, поскольку денег у него тоже не было, упросил знакомого кондуктора отвезти его в Тифлис зайцем.

Причину этих злоключений приоткрывает в своих неопубликованных воспоминаниях Филипп Иесеевич Махарадзе: «Чтобы оправдать перед рабочими такое отношение к т. Сталину, по наущению Рамишвили пустили самые нелепые и вместе с тем возмутительные слухи про него. Ввиду этого т. Сталин был вынужден покинуть Батум». Какие это были слухи — уточнил в своих неопубликованных заметках Ной Богутава: «Распространились слухи, что среди нас провокатор». Не имевший за душой ни копейки, но при этом преодолевший путь в несколько тысяч километров и вернувшийся к месту своего ареста, Джугашвили был вполне подходящим кандидатом на эту «должность».

Итак, Джугашвили в конце февраля бежал в Тифлис из Батума, преследуемый тамошними социал-демократами. Где и за какие средства он жил в Тифлисе, сейчас уже установить невозможно. Но средств, видимо, хватало, потому что он вскоре захотел, чтобы возле него была женщина. «Наталью Иосифовну хочу!» — он написал письмо в Батум Наталье Киртава, предлагая ей поселиться у него в Тифлисе, но та почему-то отказалась. А тем временем в Батуме произошла известная первомартовская демонстрация 1904 года, после которой был арестован практически весь состав комитета, месяц назад лишившего товарища Сосо возможности строить в Батуме большевистскую партию по причине подозрений в провокаторстве.

Узнав о преждевременной кончине неприятного ему комитета и об аресте всех местных вождей, Джугашвили в конце

марта — начале апреля ринулся в Батум, чтобы на образовавшемся пустом месте самому возглавить батумскую пролетарскую революцию. Прибыв на это пустое место, товарищ Сосо прежде всего обругал при людях Н. Киртава за женскую несговорчивость, а потом принялся за партийное строительство. Однако выяснилось, что социал-демократические подозрения в отношении него в провокаторстве не были забыты. Более того, недавний провал местного комитета тоже записали на его счет, и поэтому на ближайшей маёвке (18 апреля / 1 мая 1904 г.) социал-демократические соратники жестоко избили своего будущего вождя и генералиссимуса.

Избитый и опозоренный Джугашвили опять бежал из Батума, но уже не в Тифлис, где можно было встретить знакомых, а в родной Гори. (Вспоминая теперь Гори, где я бывал в 70-х годах, и картины разрушений этого города в XXI веке, я будто слышу команду из недавнего августа 2008 г.: «Ба-та-ре-я! По родине нашего дорогого, великого и любимого товарища Сталина, за Родину, за Сталина — огонь!» Такая вот слуховая галлюцинация.)

Когда Джугашвили в Гори зализывал раны, его в конце апреля посетил В. Кецховели, который, вспоминая об этой встрече, отметил, что вождь был болен и оставался в родном городе, пока не выздоровел. Но никакой радости в этом выздоровлении для Джугашвили не было: слухи об его сотрудничестве с полицией и жандармерией лишали его возможности активного участия в «революционном процессе», и он наконец понял, что ему нужно выйти на самого главного авторитета в кавказской социал-демократической шайке. Ближайшим из таких авторитетов был старейшина Союзного комитета РСДРП, будущий пассажир знаменитого пломбированного вагона, доставившего в Россию в 1917 году славную когорту разрушителей,— Миха Цхакая. К нему и стал пробиваться товарищ Сосо. Через месячишко их встреча состоялась. Миха потом вспоминал, что Сталин ему искренне поведал обо всех своих злоключениях и «подробно остановился на удачной попытке побега с места ссылки».

Миха уже был стреляным волком и потому не мог так сразу поверить битому коллегами товарищу Сосо. Он посоветовал ему немного отдохнуть от трудов неправедных, и, что весьма вероятно, установил за ним общее наблюдение, и лишь через некоторое время после в общем пятимесячного «отдыха» стал его привлекать к работе, в основном — на выездах в Имеретию, где товарищ Сосо сколачивал местные социал-демократические ячейки.

Однако охранка, со своей стороны, тоже старалась не дремать и время от времени шерстила партийные комитеты. Далее говорит Миха Цхакая:

«После одного из моих подпольных объездов России, вернувшись в Тифлис, я оказался единственным членом краевого комитета,— все члены комитета оказались за решеткой. Тогда я один кооптировал немедленно моих близких соратников, которым я доверял... В числе их были т. Коба и т. Каменев». («Товарищем Кобой» «товарищ Сосо» стал во время своих партийных странствий по Имеретии во второй половине 1904 года.)

Не будем спешить делать вывод о том, что и разгром батумского комитета, и уничтожение тифлисского Союза были результатом тайной полицейской деятельности товарища Кобы. Всякого рода аресты были в то время делом обычным. Да и без товарища Кобы в социал-демократических «комитетах» и «союзах» хватало секретной агентуры охранительных органов, но кое-чему эти происшествия могли его научить.

Дело в том, что есть несколько способов продвижения вверх по любой иерархии. Первый, например, назовем его профессорским, заключается в том, что ожидающий продвижения человек, допустим, талантливый молодой ученый на кафедре, искренне и сердечно окружает заботой своего учителя — заведующего этой кафедрой, провожает его на отдых или, с болью в сердце,— на тот свет, и только после этого занимает его место и вешает на кафедре его портрет. Иногда, как это бывало в Геттингенском и Гейдельбергском университетах, в перечень предварительных услуг любимого ученика входила его женитьба на дочери учителя. В связи с этим в славных немецких университетах возникла даже версия наследования научных дарований не сыновьями, а зятьями старой профессуры. Иногда ожидание освобождения заветного места затягивалось на бóльшую часть жизни, как в Лондонской судебной палате диккенсовских времен, где 80-летний судья считал неразумным сопляком своего 60-летнего помощника, которого обычно именовал «молодым человеком».

Другой способ назовем «скалозубовским», имея в виду заявление полковника Скалозуба у Грибоедова:

Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты:
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

Скалозубовский способ, возлагающий решение всех вопросов на Судьбу, также, естественно, связан с ожиданием. Но фраза «другие, смотришь, перебиты» косвенно указывает на пути ускорения карьерного роста, которыми, в общем-то, пользовались во все времена. В рыцарскую эпоху, например, эти вопросы, как правило, решались на открытых турнирах, но рыцари пролетарской революции, как показал исторический опыт, были не столь щепетильны, хотя, как известно, были умом, честью и совестью своей эпохи.

Вот и товарищ Коба на личном опыте убедился, что устранение (пока путем препровождения в тюрьмы, позднее методы будут более радикальными) стоящих на его пути пламенных революционеров благоприятно сказывается на его роли в социал-демократической иерархии. В общем, как пели древние новгородцы, всё это будущему вождю «в наук пошло», и этот прием он вполне мог включить в свой боевой арсенал как средство эффективной корректировки своего положения в социал-демократическом, а потом и в более узком — большевистском — клане, ибо на войне, как на войне.

Следует отметить, что в отношении Михи Цхакаи вождь отступил от своих принципов и не уничтожил старого друга и благодетеля, дав ему в покое дожить до старости и умереть в своей постели. Я помню его некролог в одной из центральных газет и мрачное лицо человека, о котором я тогда ничего не знал. Теперь я думаю, что возможность дожить до 1950 года была для него не благом, а наказанием — может быть, более тяжким, чем расстрел в подвалах Лубянки: ведь он воочию увидел последствия «торжества» своих идеалов и результаты в том числе своих трудов. Воистину: хорошо, что мы смертны, не увидим всего.

В связи с более четким разделением кавказских социал-демократов на меньшевиков и большевиков положение товарища Кобы в «партии» улучшилось: теперь по отношению ко всем слухам о его сотрудничестве с полицией он мог занять позицию, соответствующую известному советскому принципу «нехай клевещуть», согласно которому вся исходившая от врагов информация объявлялась «ложью», «брехней» и «заведомой клеветой». Эта ситуация позволила товарищу Кобе вести себя свободнее, не считаясь с тем, как его поведение воспримут те или иные «товарищи». В результате в его молодой жизни появились новые эпизоды, допускающие двойственное истолкование.

Прежде чем коснуться в качестве примера одного из таких эпизодов, отметим, что в 1905—1906 годах над Кобой неоднократно

нависала истинная угроза ареста, избавление от которого выглядело чистой случайностью. Сохранились документы об усилиях, затраченных различными подразделениями охранки на его розыск. Но это означает лишь то, что Коба не был штатным агентом охранительных служб, как Малиновский. Если же он был всего лишь осведомителем какого-либо одного влиятельного должностного лица в охранительной иерархии, то его кум, как уже говорилось, не только не был обязан представлять свой «источник» начальству и коллегам, но, наоборот, старался и имел право скрывать его от посторонних глаз. Поэтому, существовал ли такой кум у товарища Кобы и кем он был, мы уже точно узнать не сможем.

После трудного для него 1904 года товарищ Коба ощутил, что Кавказ ему тесен. В любом человеческом мирке существует свой Соловьиный сад, куда смертному рабу очень хочется попасть, чтобы, наконец, насладиться жизнью. В уголовном мирке российских социал-демократов таким соловьиным садом было высшее руководство банды, обитавшее, в основном, за рубежом в полной безопасности и оттуда распоряжавшееся жизнями своих адептов «на местах». Среди этих адептов были люди, вполне довольные своим существованием, радующиеся повседневному ощущению упоения в бою, но были и те, кто стремился вверх по бандитской иерархии, чтобы в конце концов оказаться там, среди уголовных «небожителей» и уже оттуда «решать, решать, решать» все мировые проблемы. Товарищ Коба принадлежал к самым рьяным социал-демократическим карьеристам, и ради пути наверх он был готов на всё. Этот путь наверх лежал для него через «партийные» конференции и съезды. где он был обязан блеснуть и обратить на себя внимание авторитетов. Поэтому, когда случайный арест грозил сорвать его поездку на IV (объединительный) съезд РСДРП, товарищ Коба без колебаний в порядке благотворительного взноса за свою свободу выдал охранке подпольную Авлабарскую типографию в Тифлисе и сразу же отбыл в Стокгольм.

Вокруг этого события пошли толки, и благожелатели товарища Кобы не без его участия сочинили легенду о героическом побеге отважного революционера из тюрьмы Метехи и его дальнейшем продвижении огородами к свету и партийной правде, но легенду разоблачает тогдашний сиделец Метехи Р. Арсенидзе в своих воспоминаниях о Сталине, опубликованных в Нью-Йорке в 1963 г.: «Закончу рассказом об аресте Сосо Засыпкиным, который предложил ему стать агентом охранки. Это событие, т. е. арест Сталина, действительно было, и я могу категорически заверить, что Сосо был отпущен из жандармского управления и в

Метехском замке не появлялся. Отправка его в Метехский замок, выстрелы на улице, чуть ли не стоившие ему жизни, и торжественная встреча в тюрьме с аплодисментами,— всё, о чем Сталин рассказывал в ссылке,— это приятная фантазия самовлюбленного рассказчика. Я в то время сидел в Метехи ... Если бы Сосо появился среди нас, мы безусловно встретили бы и его аплодисментами, как встречали и других. Но его там не было».

Некоторые мемуаристы воспроизвели картины заседаний разного рода «кружков» и «комитетов», в огромном количестве создававшихся товарищем Кобой, когда он вовсю мотался по просторам благословенной Грузии. Вождь непременно находился за столом, лицом к собравшимся. Это был своего рода ритуал. У него были врожденные канцелярские привычки: столоначальник по призванию. Несмотря на перекочевавший в литературу, кино и анекдоты неистребимый грузинский акцент, писания молодого Кобы свидетельствуют о том, что он отлично владел русским языком. Акцент же его был связан с тем, что первым материнским родным языком для него был грузинский, звуки которого отличаются от звуков русского языка. (Попутно вспомнилось: когда «читающему вслух» устройству, изобретенному в грузинском академическом институте кибернетики, предложили прочитать русский текст, записанный грузинским алфавитом, то это устройство заговорило с грузинским акцентом.)

Проявлением глубинного понимания логики русского языка я считаю употребление товарищем Сталиным полузабытого слова «подвизался» и изобретение им слова «секретарюка», которым он иногда подписывал письма к дочери («твой секретарюка»). Достоевский всю оставшуюся жизнь гордился изобретением слова «стушевался», но в действительности этот мрачный классик его не изобрел: просто это было единственным словом, запомнившимся ему из обстоятельного комплекса знаний по инженерному делу, которому его пытались научить несколько лет, а Сталин своего «секретарюку» придумал сам, без посторонней помощи, и, таким образом, известным корифеем в языкознании он впоследствии считался вполне заслуженно.

Когда товарищ Коба изо всех сил мотался по городам и весям с марксистскими откровениями, с ним произошел неприятный случай: однажды его морда оказалась разбитой в кровь, и при этом он так сильно ушиб голову, что некоторое время не имел возможности появляться на людях. С этим происшествием связаны две автобиографические версии: одна, исходящая от самого вождя, гласила, что он, отстреливаясь, уходил от погони, и когда

пытался вскочить на ходу в вагонетку тифлисской конки, упал и ушибся (но почему-то его преследователи этим не воспользовались). Вторая, родившаяся в изощренных умах злопыхателей, объясняла происшедшее тем, что он был в очередной раз избит коллегами по трудной подпольной работе, заподозрившими его в чем-то нехорошем: было же так, что Ной Рамишвили во время одной из дискуссий прямо назвал Кобу агентом правительства, шпионом и провокатором. А соратники Ноя, несмотря на меньшевизм, на Кавказе частенько бывали в большинстве. Потому могли и попытаться перевоспитать подозреваемого теми же методами, которые он потом разовьет до пределов совершенства, опубликовав — для служебного пользования — специальную работу о пользе физического воздействия на допросах врагов народа. Читатель же может выбрать ту версию, которая ему понравится.

А раненый товарищ Коба, прячась от публики, был вынужден перебираться в целях конспирации из одной квартиры в другую. И в одном из таких его временных пристанищ сын хозяина квартиры прибежал к отцу с криком:

— Мама, мама! А дядя, что живет у нас, играет в солдатики!

Отец не поверил, но все же зашел посмотреть, что делает незваный гость, и его взору представилась такая картина: на полу была расстелена карта города Тифлиса, и вождь, что-то бормоча себе под нос, ползал по ней, переставляя то тут, то там оловянных солдатиков. Хозяин поинтересовался, что делает гость, а тот, в ответ, приложив палец к губам, сказал:

— Тсс-с! На днях мы будем брать город.

Далее товарищ Коба пояснил, что он является начальником штаба будущей армии штурмовиков и сейчас устанавливает места на улицах Тифлиса, где будут воздвигнуты баррикады.

Сейчас трудно сказать, что это было: то ли у товарища Кобы начал прорезаться талант будущего генералиссимуса, то ли от недавно перенесенных ударов по голове у него произошло помутнение сознания и он утратил способность адекватного восприятия действительности. Следует отметить, что в его жизни был целый ряд моментов, вызывающих сомнения в его адекватности. Чего стоит, например, отправка Молотова в Берлин в ноябре 1940 года, когда Каменная Задница, спрятавшись вместе с принимавшими почетного визитера гостеприимными тевтонскими хозяевами в бомбоубежище по случаю налета Королевских ВВС Великобритании, пытался по поручению товарища Сталина поделить британские колонии так, чтобы советская империя вышла на берега Индийского океана. Наглые

притязания восточного собрата так поразили и разозлили фюрера, что он тут же приказал разрабатывать план «Барбаросса», и полгода спустя будущий генералиссимус вволю наигрался миллионами совсем не оловянных солдатиков, среди которых оказались все мужчины призывного возраста из моей семьи, не вернувшиеся с войны. Но тут мы выходим за временные рамки этого повествования.

Еще до поездки в Стокгольм осенью 1905 года, когда товарищ Коба, заметая следы, менял одну за другой свои стоянки в Тифлисе, произошло событие, оказавшее некоторое влияние на его будущее. Это было знакомство с семьей Сванидзе. Недавно мне попалась книга о вожде, изданная двумя чекистами в 2001 году (бывших чекистов не бывает). Среди всякого прочего вздора братаны-авторы сообщают, что семинарский товарищ Кобы Александр Сванидзе познакомил его со своей сестрой «Екатериной Александровной» и товарищ Коба на ней женился. В действительности всё было немного не так. Началось с того, что во время какой-то очередной тифлисской облавы на социал-демократов потребовалось куда-нибудь спрятать товарища Кобу, и соратник вождя по подполью Александр Семенович Сванидзе привел его на ночевку в квартиру своего зятя М. Монаселидзе, знакомого с Джугашвили по семинарии. В квартире этой Монаселидзе проживал с женой Сашико и ее сестрой Като Сванидзе. Обе молодые женщины были известными в Тифлисе портнихами, обшивавшими весь высший свет, включая жен генералов и крупных чиновников канцелярии наместника, приходивших к ним на примерки. Всё это ставило квартиру Монаселидзе вне подозрений, и лучшего места для того, чтобы спрятаться от полиции, во всем Тифлисе нельзя было найти. Ночевка затянулась, и квартира Монаселидзе превратилась в явочную, в которой, пока там прятался товарищ Коба, побывал весь цвет подполья социал-демократической гвардии.

Человека, организовавшего этот тихий уголок для заговорщиков — Александра Семеновича Сванидзе — в быту и в партийной среде называли Алешей. Его любили все, кого с ним сводили жизнь и работа, что не удивительно, так как это был человек красивый, широко образованный и умный. Ласкательное имя Алеша соответствует, как известно, имени Алексей, а не Александр, и его выбор в данном случае основывался на поверье, согласно которому дьявол старается делать гадости любому человеку, а в этом случае дьявол будет думать, что он гадит Алеше, т. е. Алексею, а на самом деле Алеша — это не Алеша, а Александр. В общем, как в

поговорке, возникшей во времена убийства Михоэлса и подготовки к публичной казни «убийц в белых халатах»: «А вы знаете, что Михоэлс — это вовсе не Михоэлс, а Вовси». А у меня лет сорок назад был знакомый грузин-профессор, которого звали Автандил, но среди друзей, чтобы ввести в заблуждение дьявола, он, как и Сванидзе, именовался Алешей.

К сожалению, Алеше Сванидзе не помогли ни эта хитрость с именем, ни «любовь партии»: обласканный им когда-то дьявол передал его в руки убийц и 20 августа 1941 года успокоился лишь тогда, когда штатный палач доложил ему, что «дело сделано». Эта весть была для него важнее, чем обстановка на дырявых фронтах Советского Союза.

Сестры Сванидзе были красивы, особенно Екатерина (Като). Человеку, чувствующему грузинскую женскую красоту, трудно отвести глаза от ее бесхитростных фотографий. Детский товарищ и тезка Сталина, впоследствии — эмигрант и один из важнейших зарубежных биографов вождя (книга Иосифа Иреманишвили называлась «Сталин и трагедия Грузии». Берлин, 1932) писал о безумной влюбленности своего героя в Като, что, естественно, могло иметь место. Като же не устояла перед большевистским напором несгибаемого борца за счастье человечества и в июле 1906 года почувствовала, что у нее будет ребенок. Закон предков требовал официально оформить брак, но Джугашвили тогда вроде бы не существовало: он жил по различным фальшивым документам, и никто не хотел венчать молодоженов. Наконец товарищ Коба случайно встретил семинарского соученика Тхинвалели, служившего в церкви Мама Давиди, и свадьба состоялась в ночь с 15 на 16 июля 1906 года. Среди свидетелей со стороны невесты был Миха Цхакая.

Этот брак не принес счастья Като. Товарищ Коба вообще никогда и никого не сделал счастливым, ни своих, ни чужих. Об этом свидетельствуют судьбы его жен, детей, убитых им друзей, соратников и членов их семей. Поэтому известный «анекдотик про абрамчика» вполне справедлив: на одной из первомайских демонстраций седой, как лунь, Рабинович нес плакат с надписью «Спасибо дорогому товарище Сталину за наше счастливое детство!» После демонстрации Рабиновича вызвали в партком и ласково сказали:

— Товарищ Рабинович, вы же очень старый человек, а выбрали себе такой не соответствующий вашему облику плакат! Ведь, когда вы были ребенком, товарища Сталина еще не было!

— Так вот за это ему и спасибо,— ответил Рабинович.

Като повезло меньше, чем этому Рабиновичу: товарищ Сталин в годы ее молодости не только «уже был», но и ворвался в ее жизнь, принеся с собой все сопровождавшие его беды.

Первая из этих бед началась уже в ноябре их свадебного 1906 года с подпольной малявы, перехваченной где-то в Москве, в которой обнаружился адрес: «Тифлис, Фрейлинская 3, швейка Сванидзе, спросить Сосо». Получив московскую наводку, тифлисские жандармы отправились к швейке Сванидзе на Фрейлинскую улицу и спросили Сосо. Поскольку Сосо там не оказалось, то после продолжительных препирательств увели швейку Сванидзе, прихватив обнаруженные в квартире нелегальную библиотеку подпольной литературы и архив подпольного издания «Новая летопись» («Ахали Цховреба»).

В это время Сашико Сванидзе как раз шила платье жене жандармского полковника Речицкого и попросила эту даму помочь избавить сестру от ареста. Полностью выполнить эту просьбу даме не удалось, но от тюрьмы она Като избавила: швейку осудили на два месяца ареста, а одна из ее постоянных заказчиц — жена пристава (начальника полицейской части) перевезла ее из полиции к себе на квартиру, где Като и стала отбывать присужденный ей срок, который специальным распоряжением начальника губернского жандармского управления полковника Михаила Тимофеевича Заушкевича был сокращен еще на полмесяца. Возможно, обстоятельства ареста Като ее супругу — товарищу Кобе тоже «в наук пошли», и он сделал из этого ушедшие в даль будущего времени полезные выводы: нельзя так баловать жен «врагов» народа и государства, и, дорвавшись до власти, он, как мы знаем, такие слабости позволял себе только в самых редких случаях.

Тем временем у Като в вихрях революции родился несчастный сын вождя — Яков. Каинова печать отца пометила его уже в момент рождения, и судьба его была тяжелой и трагической. С отцом он кое-как посчитался любовными утехами с его последней женой, почти что сверстницей Якова — Надеждой, но счастья ему это не принесло. Отец не забыл таких сыновьих шалостей и издали наблюдал за тем, как тот погибал в плену.

Като же после освобождения от практически домашнего ареста уехала с мужем в Баку, где тот в 1907-м интенсивно мутил воду, но через пару месяцев вернулась в Тифлис больной и 22 ноября 1907 года умерла, по слухам — от скоротечной чахотки (есть и такая разновидность туберкулеза).

Как умирала Като и кто ее лечил — сейчас установить трудно, но смерть человека в молодые годы всегда порождает какие-то

сомнения. У нормального человека обычно возникают угрызения совести: «всё ли мы сделали для спасения», «можно ли было избежать этой смерти или хотя бы оттянуть сроки» и т. п. А у параноика, во всем подозревающего злой умысел и заговоры (товарищ Коба, как известно, страдал паранойей), возникает убеждение, что имело место умышленное убийство. Кем убита? Конечно, медицинским персоналом. Паранойный бзик, указывающий на существование где-то рядом с ним «банды» врачей-убийц, преследовал его всю жизнь. Мало кто знает, что первый крупный процесс «убийц в белых халатах» товарищ Коба, бывший в то время уже товарищем Сталиным, лично организовал в Харькове (тогда столице Украины) в 1930 г., о чем свидетельствует сохранившаяся шифрограмма:

> «Шифром. Харьков. Косиору, Чубарю.
>
> Когда предполагается суд над Ефремовым и другими? Мы здесь думаем, что на суде надо развернуть не только повстанческие и террористические дела обвиняемых, но и медицинские фокусы, имевшие своей целью убийство ответственных работников. Нам нечего скрывать перед рабочими грехи своих врагов. Кроме того, пусть знает так называемая «Европа», что репрессии против контрреволюционной части спецов, пытающихся отравить и зарезать коммунистов-пациентов, имеют полное «оправдание» и по сути дела бледнеют перед преступной деятельностью этих контрреволюционных мерзавцев. Наша просьба согласовать с Москвой план ведения дела на суде.
>
> № 8/ш. И. Сталин. 2.1–30 г. 16.45».

По его личному указанию следователи-сюжетчики из уголовного ЧК состряпали 250 томов «уголовного дела» по обвинению невиновных людей в «медицинском терроре» против рыцарей революции. «Так называемая Европа» на этот процесс не обратила внимания, приговор от 19 апреля 1930 г. не был расстрельным (тех из осужденных, кто сумел дожить до 37-го, в тот год и расстреляли). Но всё прошло как-то тихо.

Второе «дело врачей» раскручивалось в составе большого сфальсифицированного процесса, в который были вовлечены светила медицинской науки Плетнев, Казаков и Левин, обвиненные в медицинских «убийствах» Горького, Куйбышева и Менжинского; оно тоже не привлекло эксклюзивного внимания: «врачи-убийцы» просто затерялись в легионе «троцкистских бандитов».

И лишь в самом конце жизни, после очередного микроинсульта, в мозгу психически больного человека возникла исключительно плодотворная идея, заключавшаяся в объединении образа «врача-убийцы» с детально разработанным еще в Российской империи крупными филозопами типа Флоренского образом злокозненного еврея, пьющего человеческую кровь. Этот симбиоз сразу же обеспечил поддержку и энтузиазм миллионов, но вождь не успел насладиться триумфом и вскоре был обнаружен соратниками лежащим в моче и маринаде. А ожидавшие задуманного им спектакля советско-народные энтузиасты излили в эпистолярной форме свои глубокие разочарования. Говорят, что их письма, содержавшие искреннее возмущение и недоумение по поводу неожиданного для них прекращения увлекательного «процесса» продолжали поступать в «компетентные инстанции» еще несколько месяцев после кончины вождя народов.

Возвращаясь из года смерти товарища Сталина в год смерти Екатерины Семеновны Сванидзе, следует отметить, что после посещений и выступлений на разных социал-демократических заграничных сборищах статус товарища Кобы существенно повысился, в том числе, вероятно, и в охранительных заведениях. Товарищ Коба стал одной из весьма заметных фигур в местной социал-демократической шайке, что привлекло к нему внимание на самом высоком уровне местной же (кавказской) охранительной иерархии, и не исключено, что кое-кто из высших чинов охранительных «органов», постоянно конкурировавших друг с другом, стал искать подходы к новому авторитету в среде подпольной партийной братвы.

Сам товарищ Коба, зная, что его репутация за границей в комитете высока, стал менее осторожен в своих добровольных и вынужденных контактах со спецслужбами, так как полагал, что в какой-нибудь Цюрих, где он мысленно пребывал в обществе главных большевиков, порочащие его слухи не дойдут, а если и дойдут, то никто этим слухам не поверит, поскольку он уже в самых верхах «движения» лично известен. Наступила новая пора в его существовании, и о его дальнейших похождениях будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА VIII.
Эпизод третий. Ангел-хранитель

Эту главу мы начнем с середины — с письма всемирно известного полковника А. М. Еремина. Таинственные слухи о существовании полицейского документа, подтверждающего сотрудничество Сталина с охранкой, появилось в 30-х годах, но текст, считавшийся оригиналом этого документа, был передан американской прессе графиней А. Л. Толстой в середине 50-х, после смерти Сталина. Текст приводится ниже, по факсимильной публикации:

«М.В. Д. Заведующий Особым отделом Департамента полиции
12 июля 1913 г. № 2898.
Начальнику Енисейского охранного отделения
А. Ф. Железнякову.

Совершенно секретно.
Лично.

Милостивый государь Алексей Федорович!

Административно-высланный в Туруханский Край Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал Начальнику Тифлисского Г. Ж. Управления ценные агентурные сведения.

В 1908 году Н-к Бакинского Охранного Отделения получает от Сталина ряд сведений, а затем, по прибытии Сталина в Петербург, Сталин становится агентом Петербургского Охранного Отделения.

Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочная.

После избрания Сталина в Центральный Комитет Партии в г. Праге, Сталин, по возвращении в Петербург, стал в явную оппозицию Правительству и совершенно прекратил связь с Охраной.

Сообщаю, Милостивый Государь, об изложенном на предмет личных соображений при ведении Вами розыскной работы.

Примите уверение в совершенном к Вам почтении.

Подпись: Еремин».

Если этот документ — зарубежная фальшивка, то готовил ее человек, хорошо осведомленный о дореволюционной деятельности товарища Кобы. В качестве начальной даты полицейского служения Джугашвили Еремин указывает 1906 год, когда во время мартовского ареста наш торопившийся в Стокгольм на съезд революционер, чтобы отвязаться от охранки и выйти на свободу, выдал подпольную Авлабарскую типографию. Видимо, он действовал по известному принципу доброго короля Франции и Наварры Генриха IV: «Париж стоит мессы». В данном случае: Стокгольм стоит Авлабарской типографии, потому что организовать при необходимости какой-нибудь десяток подпольных типографий для товарища Кобы было всё равно что семечки щелкать. Затем Еремин поминает сомнительные подвиги товарища Кобы в бакинский период его деятельности, которому посвящена эта глава.

Важное значение имеет фраза в письме, что «работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочная». Эта информация говорит о том, что полицейская работа товарища Кобы была осведомительской, но не агентурной, т. е. что он не получал, как его друг Малиновский, постоянный «оклад жалования», превышавший заработок высоких чинов Департамента полиции, а использовал охранку, в основном, для внутрипартийного регулирования путем устранения с ее помощью, хотя бы на время, «ненужных» или «вредных» для него большевистских соратников со своего пути.

В заключительной части письма содержится предупреждение коллеге, что больше рассчитывать на товарища Кобу нельзя, поскольку начальник енисейской охранки, не зная подоплеки событий, мог на основании слухов, неизбежно циркулировавших в охранительной среде, иметь на поступившего к нему «революционера» свои профессиональные виды. В общем письмо Еремина идеально и по своей внутренней логике, и в части содержащейся в нем информации.

Когда наш дорогой Никита Сергеевич узнал о публикации письма Еремина в журнале «Лайф», он стал опасаться, что,— как говорил Ягода на процессе «антисоветского правотроцкистского блока», где он уже был в качестве обвиняемого,— «так мы очень далеко зайдем» в разоблачении гнусных привычек и качеств товарища Сталина. Что же это, сказал он, так может оказаться, что первой коммунистической державой тридцать лет правил полицейский шпик! И наш веселый оттепелившийся Председатель поручил своему любимцу Серову (чекисту сталинской формации — из числа тех, у кого Карл Маркс в одну допросную ночь

признался бы в чем угодно), возглавлявшему тогда КГБ, дать заключение по письму Еремина. Рапорт товарища Серова приводится ниже по его факсимильной публикации:

Герб СССР. Штамп: «Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.
4 июня 1956 г. № 1406-С. гор. Москва.
Особая папка.
Сов. секретно.
Подписи ознакомившихся с документом Булганина, Ворошилова, Кагановича, Маленкова, Молотова и еще каких-то «деятелей».

«Секретарю ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Н. С.

По сообщениям ТАСС от 20 апреля и 20 мая с. г. в американском журнале «Лайф» был помещен фотоснимок находящегося в распоряжении редакции подлинника документа «Особого отдела департамента полиции» царской России о И. В. Сталине о том, что он является агентом жандармского управления.

При этом в журнале «Лайф» изложено содержание письма от 12 июля 1913 года № 2988 за подписью заведующего Особым отделом департамента полиции ЕРЕМИНА в адрес начальника Енисейского охранного отделения А. Ф. ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

Комитетом госбезопасности проведена проверка этого сообщения и установлено следующее:

ЕРЕМИН с 1910 года по июнь 1913 года действительно служил заведующим Особого отдела департамента полиции, а затем был переведен на службу в Финляндию. Таким образом, дата в приведенном документе из журнала «Лайф» не совпадает на месяц.

Проверен также журнал исходящей корреспонденции Особого отдела департамента полиции за 12 июня 1913 года, по которому документ за № 2988 не отправлялся. Все номера исходящей корреспонденции за июнь месяц 1913 года не четырхзначные, а пяти- и шестизначные.

Документ за подписью ЕРЕМИНА· адресован начальнику Енисейского охранного отделения Алексею Федоровичу ЖЕЛЕЗНЯКОВУ.

Проверкой архива в Красноярске установлено, что в списке общего состава чиновников отдельного корпуса жандармов за 1913 год действительно значится ротмистр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, но не

Алексей, а Владимир Федорович. Причем его должность была не начальник Енисейского охранного отделения, а прикомандированный к Енисейскому жандармскому управлению без штатной должности.

Других документов по этому вопросу не обнаружено.

При проверке архивных документов Красноярского управления попутно найдены следующие документы:

Заявление И. В. Сталина губернатору с просьбой разрешить остаться до окончания срока ссылки (до 9 июня 1917 г.) в гор. Ачинске. Просьба Сталина к приставу Туруханского края о выдаче пособия. Письмо Сталина члену Государственной Думы Р. В. Малиновскому. Рапорт Туруханского пристава от 20 декабря 1916 года о том, что Иосиф Джугашвили отправлен в распоряжение Красноярского уездного воинского начальника, как подлежащий призыву на военную службу, и другие документы, копии которых прилагаются.

Как установлено нашими сотрудниками из беседы с работниками Красноярского архивного отдела, за последние 15 лет туда часто приезжали работники из Москвы и забирали ряд документов, касающихся И. В. Сталина, содержание которых они не знают.

Кроме того, по рассказу гр-ки ПЕРЕЛЫГИНОЙ было установлено, что И. В. Сталин, находясь в Курейке, совратил ее в возрасте 14 лет и стал сожительствовать.

В связи с этим И. В. Сталин вызывался к жандарму ЛАЛЕТИНУ для привлечения к уголовной ответственности за сожительство с несовершеннолетней.

И. В. Сталин дал слово жандарму ЛАЛЕТИНУ жениться на ПЕРЕЛЫГИНОЙ, когда она станет совершеннолетней.

Как рассказала в мае месяце с.г. ПЕРЕЛЫГИНА, у нее, примерно, в 1913 году родился ребенок, который умер. В 1914 году родился второй ребенок, который был назван по имени Александр. По окончании ссылки Сталин уехал и она была вынуждена выйти замуж за местного крестьянина ДАВЫДОВА, который и усыновил родившегося мальчика Александра. За все время жизни Сталин ей никогда не оказывал никакой помощи. В настоящее время сын Александр служит в Советской Армии и является майором.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копии документов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Подпись (И.СЕРОВ)»

Аппарат КГБ в 56-м, когда писалось это письмо, был, по-видимому, в прострации: еще никто даже представить себе не мог, чем закончатся хрущевские преобразования. Может быть, им мерещились новые процессы или что-то вроде Нюрнберга. Поэтому подписанное Серовым письмо Никите Сергеевичу носит какой-то рыхлый, нечеткий характер. Сначала КГБ подтверждает сам факт существования Еремина. Затем сообщает, что Еремин работал в Департаменте полиции «по июнь 1913 г.» до перевода в Финляндию, и делает вывод, что 12 июня 1913 г. (!) он не мог отправить письмо из Департамента полиции. Почему не мог? Ведь он работал «по июнь», а не по «1 июня». Потом оказывается, что КГБ искал в архиве Департамента полиции письмо № 2988, в то время как на письме Еремина стоит № 2898, т. е. более ранний почти на сто номеров. КГБ указывает на то, что енисейского Железнякова звали не Алексей Федорович, а Владимир Федорович, не учитывая, как высоко находился Еремин и как далеко находился от него какой-то Железняков, Еремин мог себе позволить забыть, как того зовут. В то же время письмо Еремина носит прощальный характер. Так пишут, закругляя свои дела перед новым назначением. Что касается нумерации исходящей из Департамента полиции почты, то утверждение, что там использовались пяти- и шестизначные номера, не доказательно, тем более что письмо Еремина носит не деловой, а информационный характер.

Вторая половина письма Серова и вовсе не касается письма Еремина. Посланные им в Красноярск псы унюхали, что архивные материалы там изрядно подчищены ранее наезжавшими сталиноведами, но все же и на их долю кое-какая клюквочка осталась, и товарищ Серов счел возможным украсить ею свое письмецо в адрес Кукурузника.

Это была история совращения несовершеннолетней гражданки Перелыгиной во время пребывания вождя в селе Курейка Туруханского края. Таким образом, на счету дореволюционных подвигов товарища Кобы имелся и ставрогинский грех. Правда, мы не знаем, насколько условия совращения четырнадцатилетней гражданки Перелыгиной соответствовали подробному описанию сцены соития Николая Всеволодовича Ставрогина с несчастной девочкой Матрешей в революционном романе Федора Михайловича Достоевского «Бесы». (Отметим попутно, что одним из литературных псевдонимов товарища Кобы была фамилия Бесошвили, т. е. сын Беса. Правда, формулируя это погоняло, вождь, конечно, имел в виду не дьявола, а своего отца — Виссариона, сокращенное имя которого в грузинском обиходе

звучало «Бесо».) Правда, сама суть ставрогинского греха так увлекла педофилически озабоченного классика, что он запутался в возрасте жертвы: в одном месте исповеди созданного его воображением мерзавца ей десять лет, в другом — четырнадцать, как гражданке Перелыгиной в год ее встречи с сыном Беса.

Впрочем, как для восточного человека, для товарища Кобы возраст объекта его сексуальных домогательств большого значения не имел: на Востоке принято, что если в теле есть два пуда веса, то это уже — женщина. Тем более, семейная жизнь и в православной Российской империи, как свидетельствовал Илья Мечников в своей статье «Возраст вступления в брак» («Вестник Европы», 1872 г.), нередко начиналась с тринадцати-четырнадцати лет. Видимо, поэтому жандарм Лалетин, как об этом сообщает товарищ Серов, удовлетворился тем, что товарищ Сталин дал свое честное большевистское слово «жениться на Перелыгиной, когда она станет совершеннолетней», ну а цена «честным большевистским словам» общеизвестна. Учитывая, что после гражданки Перелыгиной Иосиф Виссарионович совратил другую несовершеннолетнюю — Надежду Аллилуеву, когда ей еще не было шестнадцати, вождя народов смело можно считать специалистом по малолеткам.

Отметим еще одну содержащуюся в письме товарища Серова информацию, на которую не обратили внимания ни сам адресат письма, ни его коллеги: товарищ Серов сообщает, что среди документов, найденных в архиве Красноярского управления, было обнаружено также «письмо Сталина члену Государственной Думы Р. В. Малиновскому».

Дело в том, что личный друг товарища Сталина член ЦК РСДРП Ростислав Вацлавович Малиновский был известным провокатором в российском социал-демократическом движении, свившим свое гнездо в рядах большевиков. Одним из крупнейших его дел была выдача полиции в 1913 году всей большевистской верхушки, сосредоточенной в их Центральном Комитете, включая самого товарища Сталина. О готовящейся провокации первыми узнали меньшевики и забили тревогу, но их чистосердечные предупреждения были истолкованы большевиками как происки врагов. Сохранились воспоминания этих врагов о том, что когда слухи о провокаторстве Малиновского стали интенсивно распространяться, Йоська Кривой (так эти гады называли будущего гения всех времен и народов) бегал по квартирам меньшевиков и требовал, чтобы они прекратили порочить светлое имя честного революционера. Они не прекратили, и «видные»

большевики отправились в Сибирь разжигать пламя из искры, а Малиновский — в большевистскую фракцию Четвертой Государственной Думы. Фракция эта состояла из пяти-шести человек, из которых, считая Малиновского, двое были платными агентами царской охранки. Такое уж было время.

Малиновского полностью разоблачили только в 1917 году, когда архивы полиции стали доступными. А когда вождь народов в тридцатых годах прощался с друзьями своей молодости, он специально проследил, чтобы все, кто имел контакты и пострадал от Малиновского в 1913 году, не остались среди живых. В числе отправленных в мир иной были люди, уже не имевшие к тому времени никакого значения для правящей банды, занимавшие далекие от политики посты: председатель Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей (ВОКС) А. Я. Аросев, нарком юстиции (министр ненужных в советской стране вещей) в марионеточном «правительстве» Российской Федерации В. А. Антонов-Овсиенко, директор библиотеки имени Ленина В. И. Невский, академик АН СССР и член ВАСХНИЛ Н. Осинский (В. В. Оболенский), абсолютно отошедший от партийной и политической жизни Н. А. Угланов, главный арбитр марионеточного «правительства» Российской Федерации. Это были люди, разными путями пришедшие в революцию, и по-разному складывалась их жизнь после октябрьского переворота, но конец их был одинаков — всех их убил «товарищ по оружию». Вероятно, борьба с неприятными воспоминаниями тоже иногда требует жертв. Но, конечно, чужих, а не своих.

Вернемся, однако, в 1908 год и будем плавно двигаться дальше.

25 марта этого года ночью, обходя подозрительные притоны города Баку, временно исполнявший обязанности начальника сыскной полиции некий Алексей Павлович Азбукин задержал несколько особ, показавшихся ему проходимцами и шаромыжниками. Среди них оказался житель селения Маквини Кутаисского уезда Коган Бесович Нижерадзе. Появление такого странного грузинского имени, как Коган, объясняется, по-видимому, тем, что у следака Азбукина от обилия евреев в революционном движении рябило в глазах, и все враги отечества казались ему скопищем коганов, айсбергов, вайсбергов и т. п.

Как следует из вышеизложенного, во-первых, для Баку Коган Бесович был чужим человеком, и, во-вторых, среди вещичек, бывших при Когане Бесовиче, оказалось два с половиной листа бумаги с изложением «Резолюции представителей Центрального

комитета по делу о расколе Бакинской организации РСДРП» с датой 15 марта 1908 г. и еще шесть клочков бумаги с подозрительными заметками. Всего этого, в совокупности, по мнению Бакинского градоначальника генерал-майора Фольбаума, которому доложился о происшествии Азбукин, было достаточно для передачи дела и задержанного в распоряжение Бакинского жандармского управления.

1 апреля жандармы устроили допрос Когану Бесовичу, уже фигурировавшему как Гайос Бесович.

На этом допросе Гайос Бесович, сознавшись перед этим, что он не Нижерадзе, а Иосиф Виссарионович Джугашвили, показал следующее:

«В настоящее время я не принадлежу ни к какой политической противозаконной партии или сообществу. В 1902 году я привлекался к делам Кутаисского Губернского жандармского управления по делу о забастовке. Одновременно с этим привлекался к делам Тифлисского Губернского жандармского управления по делу о Тифлисском комитете социал-демократов. В 1904 году зимой я скрылся из места ссылки, откуда я поехал в г. Лейпциг, где пробыл около 11 месяцев. Около восьми месяцев тому назад я приобрел паспорт на имя дворянина Кайоса Нижерадзе, по которому и проживал. Обнаруженный при обыске у меня № журнала «Гудок» принадлежит мне. В журнале я состоял сотрудником. Рукопись, обнаруженная у меня при обыске ... мне не принадлежит. Рукопись эта была прислана в Союз нефтепромышленных рабочих на имя редакции журнала «Гудок». Больше я ничего не могу показать».

Потом товарищ Коба еще дописал к своему показанию верноподданнейшую строку: «Из Лейпцига вернулся после Высочайшего манифеста 17 октября 1905 года», намекая тем самым на последовавшую за манифестом амнистию.

Жандармский поручик Боровков, начавший следствие, эту информацию проверять не стал, за что и был отстранен от дела Джугашвили, которое перешло к помощнику начальника Бакинского Губернского жандармского управления ротмистру отдельного корпуса жандармов Зайцеву 22 мая 1908 года, а тот уже немедленно послал запросы о Джугашвили в Кутаис и Тифлис — в жандармские управления и охранные отделения.

Незадолго до этого, а точнее 9 января 1908 г., в Тифлисском Губернском жандармском управлении произошла ротация: прежний начальник был переведен в Харьков командовать таможными жандармами, а его место в Тифлисе занял подполковник

А. М. Еремин, уже в начале февраля того же года получивший чин полковника. К Еремину и поступил Бакинский запрос о личности и деяниях Джугашвили. Еремин сразу почувствовал в «сотруднике журнала «Гудок»» некую более значительную личность и решил хотя бы для удовлетворения своего собственного интереса получить о Бакинском деятеле более подробные сведения. Пользуясь тем, что он, Еремин, одновременно был начальником Кавказского районного охранного отделения, он потребовал дать ему перечень всех дел, где упоминается Джугашвили. В охранке таких дел набралось около пятидесяти. Высокое положение Еремина позволило ему сделать подобный запрос и в департамент полиции, и там также был подготовлен список дел, касающихся Джугашвили, насчитывающий более тридцати единиц и охватывавший 1898—1904 годы.

Уже сам объем документов убедил Еремина, что охранные службы имели дело в лице Джугашвили с птицей более высокого полета в социал-демократическом движении, чем какие-нибудь революционеришки, с которыми мог управиться начальник Тифлисского охранного отделения Засыпкин, сумевший, пользуясь тем, что для товарища Кобы выход на свободу для поездки в Стокгольм был вопросом жизни и смерти, выудить у арестованного вождя кое-какую информацию. С точки зрения Еремина, это был счастливый случай, который он, Еремин, мог истолковать как своего рода предзнаменование возможности более серьезной работы с товарищем Кобой. И Еремин решил начать игру.

Слово «игра» в данном случае есть понятие многостороннее. Дело в том, что охранительные службы Его Императорского Величества ни на Кавказе, ни в Москве, ни в Питере, ни в остальных городах и весях империи в те годы уже не представляли собой монолитной массы, готовой шагать строем в заданном направлении и с песней: «Эх, солдатушки, бравы-ребятушки». Это был конгломерат, в котором имелись образованные, инициативные люди, честолюбивые личности, не считавшие себя обязанными делиться идеями, источниками информации и вообще материалами, пригодными для построения собственной карьеры и собственного благополучия. Именно к таким личностям, даже по той, доступной нам, далеко не полной характеристике, может быть отнесен полковник А. М. Еремин. Игра, которую он вел с 1908 года с Джугашвили, вряд ли кому-нибудь была известна, и так продолжалось до тех пор, покуда он не потерял к ней интерес, переключась на новые проблемы, далекие от его прежних забот. Только тогда он посчитал возможным приоткрыть завесу тайны своим коллегам.

А в 1908 году в Тифлисе, определив масштабы и форму деятельности товарища Кобы, он со своей стороны сделал всё возможное, чтобы запутать бакинских политических сыскарей и не дать им узнать правду о человеке, которого он хотел использовать в своих целях. Его ответы на бакинский запрос о Джугашвили были нечеткими и, можно сказать, пустыми, но сразу повлиять на судьбу своего подопечного он не смог, и обладавшее определенной самостоятельностью Бакинское Губернское жандармское управление предложило выслать Джугашвили в Сибирь сроком на три года. Департамент полиции, куда поступило это предложение, сгруппировав его еще с тридцатью ему подобными, вынес все это на рассмотрение Особого совещания, определив в качестве предполагаемого места ссылки Тобольскую губернию. Однако могущественное Особое совещание для шести человек, включая Джугашвили, сократило срок ссылки до двух лет, а Сибирь заменило Вологодской губернией (возможно, в этом «смягчении участи» есть след руки полковника Еремина, другие объяснения нам придумать трудно). 29 сентября 1908 г. это решение без каких-либо корректив утвердил П. А. Столыпин.

Заглядывая в далекое будущее, можно высказать предположение, что идея «Особого совещания» (из трех-четырех человек) взамен судебной канители тогда глубоко запала в молодую душу товарища Кобы. И он воспроизвел уже в своих охранительных органах подобные «юридические формирования», самое славное из который возглавил фольксдойч Васька Ульрих, бывший пламенный революционер, большевик-палач, работавший в те годы, когда Коба впервые ощутил благотворность «Особых совещаний», в рижском подполье, пользуясь погонялом Мефодий, вместе с теми, кого он через тридцать лет убил по поручению всё того же товарища Кобы.

Итак, он отправляется в принудительный вояж не на восток, а на север империи, в Вологодскую губернию. Этап, в который попал товарищ Коба, опять имел в своем составе вездесущих революционных яков давидовичей, годя янкелевичей, меир самуиловичей, да еще и Хасю Абрамовну — на закуску. Все они дружно покинули осенний Баку в начале октября 1908 года.

В пути с товарищем Кобой стали происходить невыясненные метаморфозы, в результате которых от своей родной Бакинской группы он приотстал и появился в Вологде лишь во второй половине января, где один из высших губернских чиновников определил ему местом ссылки город Сольвычегодск. Где болтался товарищ Коба почти пять месяцев — доподлинно неизвестно.

По слухам, два месяца из затраченных им на эту не очень длинную дорогу он провел в Москве, где ни с кем из большевиков не общался. Но и на пути в Сольвычегодск он опять застрял в дороге, на сей раз в Вятке, где стал косить под больного. Никаких революций по пути движения нашего абрека из Баку в Сольвычегодск не произошло, и остается предполагать, что в эти таинственные месяцы его загадочного временного исчезновения он был занят другими проблемами, а свою героическую борьбу за счастье человечества на время отложил.

В то же время чувствовалось, что столь продолжительное отвлечение от главного дела своей тогдашней жизни его сильно измучило, и он сразу же по прибытии в Сольвычегодск 27 февраля 1909 г. стал готовить побег. Впрочем, его страдания и лишения чередовались с радостями бытия: в Сольвычегодске он среди всяк исаак менделевичей и давид пиньковичей нашел свою очередную подругу жизни. Ею стала родившаяся в Одессе херсонская дворянка-католичка, 23-летняя Стефания Леандровна Петровская, загремевшая в ссылку по случаю. Срок пребывания в ссылке этой любимой женщины товарища Джугашвили скоро закончился, и она отбыла не в одесский собственный отчий дом, а в Баку, чтобы там ожидать, когда ее суженый каким-нибудь образом освободится от оков самодержавия и прибудет на Каспий продолжать свое святое дело.

К своему побегу товарищ Коба готовился очень тщательно: чтобы обеспечить себя деньгами, собрал добровольные взносы с сольвычегодских ссыльных (по другим данным, проявил себя незаурядным шулером и обыграл в карты товарищей, сорвав кон в 70 рублей) и запасся маскировочным гардеробом.

Когда наступил день «Х», товарищ Коба в близлежащей деревне переоделся в подаренный ему местной учительницей сарафан (интересно, сбрил ли при этом дурик усы) и в веселой прогулочной компании с песнями отправился по Вычегде на лодке в Котлас. Таким образом, товарищ Коба предвосхитил легендарную уловку Керенского в использовании для побега женского платья. (Хотя говорят, что Керенскому использование женского платья для побега из захваченного бандитами Питера было приписано злыми большевистскими языками, а на самом деле глава Временного правительства удирал во фраке или в смокинге.) А товарищ Коба тогда благополучно прибыл в Котлас, снял сарафан и сел в поезд, идущий в Вятку, где пересел на петербургский состав, и 26 июня 1909 г. поздно вечером прибыл в столицу империи, а дней через десять отправился к месту своего ареста — в Баку.

Просматривая материалы, касающиеся истории российской социал-демократии, можно заметить, что большевики, да и другие бандиты, считавшие себя «революционерами», слетались в Баку, как мухи на мед. Причина этого явления заключается в том, что если Ташкент был городом хлебным, то Баку был городом денежным. Деньги в этом городе и его окрестностях фонтанировали из земли, а большевики очень любили деньги. Некоторые из них, вроде Шаумяна, даже иногда работали на нефтедобывающих предприятиях. Но большинство работать не стремилось, стараясь получить деньги, не прикладая рук. Впоследствии большевики придумали свои сказки о том, как некоторые «прогрессивные капиталисты», ненавидевшие царский режим, сами несли большевикам деньги, веря, что они изменят их жизнь. (Как они ее изменили, мы знаем.)

В действительности всё было немного не так, а вернее — совсем не так. Среди хозяев и промышленных менеджеров того времени были, конечно, недовольные такой архаичной формой правления, как самодержавие, не поспевающей за быстро развивающимся бизнесом и не отвечающей многим его потребностям, но вряд ли кто-нибудь из этих жаждавших перемен «страдальцев» (кроме нескольких душевнобольных) мог даже подумать, что режим, обещаемый большевиками, создаст для их деятельности более благоприятные условия. Получение с них «денег для революции» было, по сути дела, результатом бандитско-мафиозного крышевания прибыльных производств, только роль крестных отцов, донов, воров в законе, смотрящих и уголовных авторитетов здесь исполняли «честные» большевистские функционеры типа товарища Кобы, которые торговали обещаниями не создавать на заводах, фабриках, шахтах, приисках силами «революционных» рабочих всякого рода бордельеро, несущих неисчислимые убытки хозяевам, и выполняли свои обещания, объясняя свои «уступки» тактическими соображениями. В результате, в таких местах, как Баку, в отличие от бедных Имеретии, Картли, Самегрело и других грузинских провинций, денег хватало и на видимость «партийной работы», и на печатание «революционного» подтир-папира, и на подкуп филеров (в случае необходимости), и на сытую жизнь самих рыцарей революции. Вот почему нефтяной Баку был для этих рыцарей чем-то вроде Бобруйска для детей лейтенанта Шмидта.

Сам товарищ Коба прибыл в Баку в середине июля 1909 года и сразу же погрузился в «работу». В охранке на этот раз ему была почему-то присвоена кличка Молочный, объяснить которую можно

только тем, что из-за трудностей доставки в Баку кахетинских и имеретинских вин вождь перешел на молоко. Документы же себе он выправил на имя Оганеза Ваграновича Тотомянца. По полицейским отчетам за Тотомянцем был установлен довольно плотный надзор, который почему-то осуществляли филеры давно и лично знакомые с Джугашвили. Как отмечают историки большевистского движения в Закавказье типа Лаврентия Павловича Берии, с выходом товарища Кобы на работу в Баку сразу же активизировалась деятельность Бакинской организации РСДРП. Однако эти историки почему-то не сообщают, что уже через неделю-другую этой активной деятельности в местном большевизме начались провалы и аресты. Почему-то в самый разгар такого рода осложнений товарищ Коба 12 сентября 1909 г. вдруг уехал в Тифлис, где принявший его филер Уличный знал его как Кобу и Сосо и потому последнюю фамилию вождя — Тотомянц — в своих донесениях даже не упоминал.

Побузотерив пару дней в Тифлисе, создавая для большевиков видимость полезной деятельности, на что купилась даже многоопытная товарищ Стасова, товарищ Коба возвратился в Баку. Почему-то сразу же по его прибытии на брега Каспия в среде большевистских рыцарей стали распространяться слухи о скором провале очередной подпольной типографии. Вскоре эти слухи пополнились именами трех провокаторов, и товарищ Коба немедленно (29 сентября 1909 г.) издал листовку, позорящую изменников рабочему делу.

В середине октября 1909 года в Баку приехал еще один славный грузинский подпольщик — Алеша Джапаридзе (в действительности Джапаридзе был Прокофием, но, чтобы запутать дьявола, стал называть себя именем Алеша, ставшим его партийной кличкой). Узнав о прибытии Алеши и, естественно, его бакинский адрес, полицейский (помощник пристава) пришел его арестовывать, но на находившегося там же Тотомянца (товарища Кобу) страж порядка почему-то внимания не обратил, и тот, по-дружески попрощавшись со всеми участниками этой сцены, спокойно ушел, и вскоре уехал в Тифлис. Следом за ним помчалась телеграмма бакинской охранки о его путешествии на запад вдоль Куры. Однако, послав эту телеграмму, Бакинское охранное отделение, по-видимому, испугалось, что их тифлисские коллеги схватят товарища Кобу и сорвут бакинскую полицейскую игру, в которой вождь участвовал в качестве весьма важного игрока. Поэтому в Тифлис помчалась следующая депеша: «Арест Кобы безусловно нежелателен ввиду грозящего провала агентуры и потери освещения предстоящей ликвидации местной организации и ее техники».

Полагаю, что эта телеграмма не вызовет потребности в комментариях даже у самого наивного читателя.

Слухи о том, что товарищ Коба делает что-то неблаговидное на Кавказе, доходили до Департамента полиции в Питер, откуда 20 сентября последовал запрос в Тифлис. Видимо, не желая раскрывать свои карты, Еремин прикинулся неосведомленным дурачком, послал запрос в Баку и только через месяц отправил какую-то отписку столичному начальству.

В Баку Джугашвили вернулся в начале декабря 1909 года, и его приезд совпал с посещением нефтяной столицы М. Черномазовым (человеком, близким к Малиновскому). Скорее всего, он приехал подзаправиться деньжатами, но разыгрывал из себя партийного генерала, составлял списки подпольщиков вопреки всем правилам конспирации и т. п. То ли проявив бдительность, то ли почувствовав конкуренцию, товарищ Коба публично назвал Черномазова провокатором.

Тем временем «за границей в комитете» акции товарища Кобы росли, и когда в начале 1910 года большевистские авторитеты, собравшись в Париже, решили создать Русское бюро своей шарашки, среди его вероятных членов значился и Коба Сталин. А в Баку разыгрывался очередной акт большевистской комедии: в город возвратился один из тех, кого Коба в своей прокламации в конце сентября 1909 года объявил провокаторами, и потребовал честного партийного суда над собой, сказав, что он примет любое решение этого суда вплоть до смертной казни. Но Коба и часть Бакинского комитета, составлявшая его бражку, участвовать в таком суде отказались. Этот демонстративный отказ породил в партийной массе закономерный вопрос: кто же тогда провокатор — фигурант листовки или ее автор, т. е. сам товарищ Коба?

После этого сталинского демарша бакинские соратники товарища Кобы стали более внимательно присматриваться к его поведению, и их усердие было вознаграждено: им стало известно легендарное происшествие в героической революционной жизни нашего вождя, которое мы сделаем сюжетом вставной легенды.

Легенда о добром жандарме

Встречает товарища Сталина на улице Баку один из добрых работников охранного отделения и говорит ему:

— Гамарджоба, Иосиф Виссарионович!

— Гаги марджос, генацвале,— отвечает товарищ Сталин.

— Я знаю,— продолжает добрый охранитель,— что вы — видный наш революционер социал-демократ, поэтому, вот, возьмите этот список: в него включены *товарищи*, которые в ближайшее время будут арестованы. Их тридцать пять человек.

Товарищ Сосо с благодарностью этот список принял и сообщил о нем *товарищам*. В списке оказался весь Бакинский комитет, и товарищ Сосо сказал своим товарищам по борьбе:

— Поскольку указанных товарищей всё равно арестуют в ближайшее время, давайте сейчас назначим другой состав нашего Комитета.— Так сказал товарищ Сосо и тут же достал из кармана список из одиннадцати других товарищей, которых он хотел видеть в своем Комитете.

Конец легенды.

Примечание: эта легенда задокументирована, и оригинал ее записи — в воспоминаниях большевички Г. Варшамян, оказавшейся тогда в числе членов сталинского Бакинского комитета, хранится в неразобранных архивах дореволюционного героизма товарищей.

Отметим от себя, что положенная в основу описанных в «Легенде о добром жандарме» действий хитрость нашего вождя по уровню своего идиотизма носит не тонкий восточный, а чисто нордический характер. Естественно, что ее устное обнародование вызвало в рядах товарищей новую волну недоверия к товарищу Кобе, и бакинская охранка с трудноскрываемым весельем наблюдала за дальнейшими событиями в Бакинском комитете. Один из таких наблюдателей доносил: «16 сего марта состоялось заседание Бакинского Комитета. Между членами Комитета Кузьмой и Кобой на личной почве явилось обвинение друг друга в провокаторстве». Потом, уже находясь в эмиграции, наблюдавший тогда со стороны эту бакинскую большевистскую катавасию закавказский меньшевик Р. Арсенидзе вспоминал: «В 1908—1909 годах, как передавали мне знакомые большевики, у них сложилось *убеждение*, что Сталин выдает жандармам посредством анонимных писем адреса не угодных ему товарищей, от которых он хотел отделаться. Товарищи по фракции решили его допросить и судить».

Учитывая, что в Комитете уже до этого приняли решение провокаторов предавать смерти, то над товарищем Кобой нависла серьезная угроза и ему требовалось прикрытие. Поскольку в уголовном мире, — а российский большевизм всегда был маргинальной частью уголовного мира, — одной из лучших форм

прикрытия была отсидка в тюрьме, Коба был своевременно арестован. Вот как это описывал Арсенидзе: большевики «уверяли меня, что жандармерия, по их сведениям, получила адреса некоторых товарищей большевиков, написанные рукой, но печатными буквами, и по этим адресам были проведены обыски, причем арестованными оказывались всегда те, которые вели в организации борьбу с Сосо по тому или иному вопросу. На одно заседание суда (их состоялось несколько) вместо Кобы явилась охранка и арестовала всех судей. Коба тоже был арестован на улице по дороге в суд. И судьи, и обвиняемые очутились в Бакинской тюрьме».

Отметим, что среди тех, кто «печатными буквами» был выдан охранке, оказался и Степан Шаумян — не менее крупная, чем товарищ Коба, фигура среди закавказских товарищей.

Арестованные большевистские судьи хотели продолжить свой суд в тюрьме, чтобы, в том случае, если факт провокации будет доказан, придушить гада подушкой. Но товарищ Коба с помощью власть предержащих сумел от них ускользнуть: его снова отправили в ссылку в уже знакомый ему далекий северный уезд.

Здесь мы в очередной раз сделаем «отступление в будущее»: став во главе Империи, товарищ Коба не утратил своих пристрастий к дружеским провокациям. Помянем здесь одну из самых блестящих: вброс в «советское общество» плодотворной идеи о создании в Крыму «Еврейской советской республики». Эту мысль вождь по секрету сообщил Молотову, чтобы тот через свою еврейку-жену «забросил» ее в Еврейский Антифашистский комитет. Наивные евреи, не почувствовав подвоха, заглотнули наживку. Заканчивать провокацию вождь не торопился и, потратив несколько лет на обдумывание перспектив, в конце 40-х годов приступил к действиям. «Эти евреи хотели захватить наш советский Крым, панимаеш!» — опять-таки по секрету он сообщил своим соратникам, пребывая в твердой уверенности, что именно его версия дойдет до «советского народа», а еврейские «захватчики» сознаются в своих гнусных намерениях. И сознались, и народ понял: угроза нависала над «советским» Южным берегом.

Из числа несостоявшихся еврейских «захватчиков» из Лубянской гостиницы живой вышла только Лина Штерн. Я, будучи честным представителем «советского народа», летом 1954 года спросил ее, как могли «активные евреи» намереваться стать мародерами и воспользоваться достоянием репрессированного крымского населения. Академик Лина Штерн с достоинством ответила, что, во-первых, утку о «еврейском Крыме» запустил сам Сталин еще во время войны («У нас тогда еще не было оснований

не верить ему»,— сказала она), а во-вторых, это «предложение» вождя поступило до того, как стало известно о планах повального «наказания» крымских народов. Лет через сорок таким же образом эту сталинскую провокацию описал в своих мемуарах П. Судоплатов. С тем и возвратимся в Серебряный век.

До сих пор мы изучали, в основном, разборки товарища Кобы со своими же товарищами. Теперь попытаемся восстановить картину его взаимоотношений со злейшим врагом российского пролетариата — русским царизмом в лице его охранительных учреждений. Важная дата для нашего исследования — 1910 год, в котором полковник А. М. Еремин был переведен из Тифлиса в Петербург с существенным повышением.

По законам конспирации прикрытие должно выглядеть естественным и для чужих, и для своих, из которых один, максимум два человека, кроме самого прикрываемого, могут быть посвящены в эту тайну, поскольку всем известно: что знают двое — знает и свинья. Но двух еще можно вытерпеть, а вот свинью — нельзя. Поэтому бакинская охранка выполнила арест Джугашвили, прикрывавший его от суда «товарищей», вполне серьезно. Причину ареста стражи порядка видели в том, что товарищ Коба знает всех филеров, даже прибывающих из Тифлиса, в лицо, здоровается с ними при встречах на улице и указывает на них «товарищам», срывая тем самым плановые мероприятия по политическому сыску. Поэтому 23 марта 1910 г. товарищ Коба, он же гражданин Тотомянц, он же, как выяснилось из находившейся при нем паспортной книжки, житель какого-то селения Елисаветпольской губернии и уезда Захар Киркоров Меликянц, был арестован и доставлен к одному из околоточных надзирателей Баку. (Обилие общедоступных фальшивых и настоящих документов в Закавказье в первые годы двадцатого века напоминает изобилие российских паспортов в свободных кавказских «государствах» типа Абхазии и Южной Осетии в начале века двадцать первого. Вероятно, свободная циркуляция личных документов в этой части бывшей Российской империи является старинной народной традицией.)

В тот же день арестовали верную подругу товарища Кобы — херсонскую дворянку Стефанию Леандровну Петровскую. Тем временем товарищ Коба стал водить за нос бакинские охранительные инстанции. Сначала представился абсолютным бомжом и отрекся от херсонской дворянки, как святой Петр от Учителя: «С Петровской я вообще никогда не жил и в сожительстве не состоял»,— написал он в своих показаниях. Однако арестованная Петровская его подвела:

наотрез отмежевавшись от пролетарской революции, она, тем не менее, признала свою интимную связь с Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, за что и была вскоре отпущена на волю.

В отношении же самого товарища Кобы началась обычная охранительная канитель: запросы, ответы, справки (как будто вся эта жандармская нечисть впервые в жизни познакомилась с нашим великим вождем), депеши во все концы Кавказа и т. п. Во время этих канцелярских разборок в руководстве Бакинского Губернского жандармского управления появились новые люди, по-видимому, не посвященные в тонкости обращения с таким выдающимся преступником, как товарищ Коба, и, ознакомившись с его делом, новый помощник начальника этой конторы ничтоже сумняшеся пришел к выводу: выслать смутьяна туда, куда Макар телят не гонял — в Якутию, по сравнению с которой прежние места ссылок вождя выглядели тропическими курортами. Тут уже товарищ Коба серьезно забеспокоился, поскольку понимал, что в своем кавказском башлыке и галошах он там загнется при первых же холодах.

И он придумывает очередную нордическую хитрость: узнав о существовании в тюрьме реального чахоточника, хотя и не связанного с борьбой пролетариата за свои права, товарищ Коба под каким-то предлогом перевелся в тюремную больницу и попросил одного из своих симпатиков добыть у этого больного его мокроту. Беспартийный донор не пожалел для вождя своего плевка, и указанная мокрота отправилась в больницу на анализ от имени товарища Джугашвили. Врачам деваться было некуда, и с 29 июня 1910 г. товарищ Коба стал официальным чахоточником, о чем немедленно написал бакинскому градоначальнику:

> «В виду имеющегося у меня туберкулеза легких, констатированного тюремным врачом Нестеровым и врачом Совета съезда одновременно в начале мая с. г., после чего я все время лежу в тюремной больнице — честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство назначить комиссию врачей для освидетельствования самочувствия по состоянию своего здоровья, что комиссия подтвердит сказанное вышеупомянутыми врачами и, принимая во внимание, что при аресте ничего предосудительного не найдено у меня,— покорнейше прошу Ваше Превосходительство применить ко мне возможно меньшую меру пресечения, и по возможности ускорив ход дела. Одновременно с этим прошу Ваше Превосходительство разрешить мне вступить в законный брак с проживающей в Баку Стефанией Леандровной Петровской. 1910. 29 июня. Проситель Джугашвили».

Но оказалось, что больничка, защитив товарища Кобу от товарищей, желавших его судить за провокаторство, плохо защищала его от перспективы быть отправленным в Якутскую область, и он уже на следующий день продолжает свою любовную переписку с бакинским градоначальником, посылает ему новое весьма жалостное сочинение:

«Его Превосходительству г. Градоначальнику г. Баку содержащегося под стражей в Бакинской тюрьме Иосифа Виссарионовича Джугашвили.

ПРОШЕНИЕ

От моей жены (так он уже именует херсонскую дворянку.— *Л.Я.*), бывшей на днях в жандармском управлении, я узнал, что г. начальник жандармского управления, препровождая мое дело в канцелярию Вашего Превосходительства, вместе с тем считает от себя необходимым высылку меня в Якутскую область».

Следующей фразой товарищ Коба пытается намекнуть Его Превосходительству, что он, товарищ Коба, хоть и революционер, но не такой простой, как это кажется новому начальнику бакинских жандармов:

«Не понимая такой суровости по отношению ко мне и полагая, что *недостаточная осведомленность* (курсив мой.— *Л. Я.*) в истории моего дела могли породить нежелательные недоразумения, считаю нелишним заявить Вашему Превосходительству следующее».

Далее товарищ Коба описывал свои давние (1903—1904) дела, свои честные отношения с охранкой и свои совершенно незначительные революционные прегрешения, в которых он вроде бы раскаялся. Заканчивалось это прошение жалостливыми словами уже без упоминания о брачных намерениях вождя:

«Делая настоящее заявление, покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять его во внимание при обсуждении моего дела. Иосиф Джугашвили. 1910 г. 30 июня».

Слезные просьбы великого комбинатора и революционера и его намеки не возымели действия на исполняющего обязанности бакинского градоначальника полковника Мартынова. И даже

сталинской чахотке он не очень поверил. Призрак «Якутской области» продолжал угрожать товарищу Кобе, и только при прохождении его дела в Особом отделе Департамента полиции, где к тому времени уже практически обосновался полковник А. М. Еремин, наконец забрезжила надежда: Особый отдел, видимо, со своими пожеланиями направил бумаги, касающиеся товарища Кобы, в Судебный отдел того же ведомства, а оттуда они поступили также с соответствующими пожеланиями в Особое совещание, которое 12 августа 1910 г. приняло решение возвратить его в Вологодскую область «для отбытия остающегося срока гласного надзора» и «воспретить ему жительство в пределах Кавказского края сроком на 5 лет». Решение Особого совещания было настолько незыблемым, что даже перехват Бакинской охранкой более весомых материалов по его делу на это решение не повлиял, и 20 сентября 1910 г. товарищ Коба отправился в знакомую ему Вологодскую губернию. А 23 сентября, когда вождь уже был в пути, в Баиловскую тюрьму из канцелярии бакинского градоначальника по согласованию с жандармерией пришло разрешение товарищу Кобе сочетаться законным браком с проживающей в Баку Стефанией Петровской, но оно опоздало, и, в отличие от мадам Грицацуевой, очередной невесте вождя пришлось остаться в девках. Больше эта херсонская дворянка на боевом пути своего молодого жениха не появлялась.

Впрочем, Кобу, едущего в Вологодскую губернию, занимали мысли, далекие от брачных планов: родной Кавказ, набитый шальными деньгами Баку для него закрылись на долгие пять лет, и нужно было думать, как и на что жить дальше. И товарищ Коба по прибытии к месту ссылки завязывает интенсивную (в пределах его тогдашних возможностей) переписку с разными казавшимися ему влиятельными партийными людьми в поисках своего нового амплуа. В одном из писем из Сольвычегодска, адресованном знакомому по Кавказу В. С. Бобровскому, он сообщает: «Ильич и К° зазывают в один из двух центров, не дожидаясь окончания срока». Было ли так на самом деле или товарищ Коба выдавал желаемое за действительное — неизвестно. Во всяком случае, письмо, в котором Ильич и К° подбивали бы вождя на побег, чтобы поскорее занять место «в одном из двух центров», среди сохранившихся партийных документов не значится. А пока даже свои статейки о «наших задачах» и «наших разногласиях» товарищ Коба прекратил писать, и российский большевизм остался без такого мощного идеологического источника.

Вынужденное оперативно-идеологическое безделье товарищ Коба компенсировал интенсивными занятиями в

сексуальной сфере. Вообще правильно говорят, что если человек велик, то он велик во всем, и товарищ Коба поистине был гигантом революционного секса: после неудачи с Наташей Киртава, которая отказала ему два раза, его молодая жизнь стала чередой половых успехов, и Вологодский край стал одной из его важнейших сексуальных житниц. Если при своем первом посещении этой благодатной местности он получил в качестве подарка от судьбы херсонскую дворянку Стефанию, то во свое второе пришествие он, поселившись в доме сольвычегодки М. П. Кузаковой, вскоре привел туда ссыльную Серафиму Васильевну Хорошенину, которая до прибытия нашего горного орла так характеризовала ссыльный быт в сохранившихся своих записках: «Даже совместных развлечений нет, и ссыльные топят тоску в вине. Я тоже иногда выпиваю».

С появлением товарища Кобы «совместные развлечения» у нее появились, и вскоре она переехала к нему в комнату в доме мадам Кузаковой, где 20 февраля они вступили в гражданский брак. Однако через несколько дней темные силы царизма, которые непрестанно реяли над влюбленными, вытащили из-под товарища Кобы его ссыльную невесту и отправили в Никольск, чтобы она там попробовала найти себе другого партнера для совместных развлечений или уже запила по-черному.

Товарищ Коба, оставшись один в супружеской постели, горевал недолго, поскольку рядом была хозяйка дома мадам Кузакова — тоже ведь все-таки женщина! — и он сразу же уложил ее на освободившееся место.

Слухи об очередной новой семье товарища Кобы сразу же распространились в большевистской кодле, и его коллега по отсидкам крестьянский сын и старый большевик Александр Петрович Смирнов (его товарищ Коба, став товарищем Сталиным, убъет в 1938 году) писал товарищу Кобе в дружеском письме: «О тебе слышал, что еще раз поженился».

У товарища Кобы была еще одна революционная особенность: куда бы он ни попадал, он там начинал размножаться, но не в партийно-идеологическом, а в чисто биологическом смысле. Так случится, как об этом говорилось в начале главы, в Туруханской ссылке, где товарищ Коба обрюхатил 14-летнюю сибирскую девку, но там вождь довольно долго вел семейную жизнь. С мадам Кузаковой было иначе: однажды, придя домой, она обнаружила, что супруг исчез. Данные о том, взял ли он из гостеприимного дома золотое ситечко, подобно Остапу Ибрагимовичу, отсутствуют, но кое-что, кроме обнаруженной на столе квартирной платы,

от себя лично он хозяйке все же оставил на память, потому что после его отъезда у мадам Кузаковой в положенное время родился ребенок. Сколько существовало таких детей в Российской империи — точно не известно, и сообщество «детей товарища Сталина» по аналогии с комитетом «детей лейтенанта Шмидта» в молодой Советской России не сформировалось. Впрочем, быть непризнанным сыном товарища Сталина в стране победившего социализма было несравненно опаснее, чем неизвестным сыном известного героя-девственника и романтика Шмидта.

Мать-Революция звала, и дальнейший путь рыцаря этой Прекрасной Дамы — товарища Кобы — лежал из Сольвычегодска в Петербург, хотя Вологодское Губернское жандармское управление настоятельно, с соответствующими угрозами рекомендовало ему на дальнейшее поселиться в Вологде под надзором полиции. Но товарищ Коба никаких угроз этих своих извечных врагов не боялся. Правда, в целях большевистской конспирации он тогда притворился законопослушным гражданином и сделал вид, что капитально обосновывается в Вологде, куда прибыл 9 июня 1911 г. Он нашел жилье, обновил партийные связи, продолжил переписку с редакциями партийных изданий, в общем, вел себя, как положено провинциальному большевику, знающему пределы своих возможностей.

При всей своей занятости планированием своего большевистского будущего, товарищ Коба во время своего, на сей раз краткосрочного, пребывания в Вологде не забывал о совместных развлечениях, в которых компанию ему составила невеста его боевого товарища Петра Чижикова — ученица седьмого класса Тотемской гимназии, происходившая из местных крестьян 17-летняя Пелагея Георгиевна Онуфриева, появившаяся в Володе 23 августа 1911 г. Их совместные развлечения происходили в основном в дневное время, пока жених Чижиков находился на работе, но это трио просуществовало недолго, так как 6 сентября товарищ Коба отбыл в Петербург. На прощание Пелагея надела на бульдога свой нательный крестик, а тот, вместо испрошенной его подругой фотографии, подарил ей книгу будущего председателя Комитета по делам искусств в большевистском пролетарском раю — Петра Семеныча Когана под названием «Очерки западно-европейской литературы» (том 1, Москва, 1909) с дарственной надписью: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа». Пусть, мол, слегка подучится. Отметим, что ни Чижиковой, ни Джугашвили умная скверная Поля не стала, удовлетворившись более скромной простой фамилией Фомина.

Во время этого кратковременного пребывания товарища Кобы в Вологде до императорских спецслужб от их многочисленной ватаги агентов и осведомителей в российском большевистском движении поступила информация о том, что наш вождь получил подпольный титул «разъездного агента ЦК РСДРП», т. е. своего рода коммивояжера по распространению по городам и весям марксистской идеологии и большевистских пакостей. Это назначение сразу же усилило уважение и внимание к товарищу Кобе со стороны центральных охранительных органов и потому, когда местный вологодский жандарм, желая проявить инициативу, предложил провести у вождя обыск, чтобы по его вполне ожидаемым результатам отгрузить рыцаря революции куда подальше, из охранительного центра 25 августа 1911 г. последовал гневный окрик: «Обыск Джугашвили *недопустим* (курсив мой.— *Л. Я.*), в случае отлучки сопровождайте наблюдением, одновременно телеграфируйте мне о времени и направлении поездки».

Местная полицейско-жандармская шушера кинулась «спольнять», и в центр полетели основанные на донесениях филеров депеши со сведениями о том, как товарищ Коба болтался по перрону станции Вологда, как втащил чемодан и какой-то узел в вагон третьего класса поезда № 3, следующего в Питер, как вышел пройтиться на станции Чёбсара, где поимел контакт с неизвестным человеком, и как и когда прибыл в столицу Империи. В общем, филеры всемерно окружили вождя своими заботами.

Мне лично один раз пришлось видеть поезд, везущий товарища Сталина,— через пятьдесят лет после описываемых событий, осенью 1951 года. Дело было так: мне, тогда первокурснику, по пути в институт было необходимо перейти железнодорожный мост у Южного вокзала в Харькове. Однако и меня, и прочее население на мост не пустили, а минут через пятнадцать под мостом промчался поезд, напоминавший поезд-призрак, потому что в нем не было никаких признаков жизни. Потом, еще через минут пять, промчался другой такой же поезд, вероятно, чтобы сбить с толку агентов мирового империализма, а может, и по случайному совпадению.

— Кого везут? — задал я традиционный в таких случаях вопрос одному из топтунов, сдерживающих народный поток, и услышал не менее традиционный ответ:

— Кого надо, того и везут,— важно сказал страж.

Зачем приезжал 7 сентября 1911 г. партийный коммивояжер товарищ Коба в Питер — осталось неизвестным. Его секретные сопровождающие зафиксировали, что он сразу же отправился

в гостиницу «Россия», где и остановился на постой. На другое утро зашел в гости к Аллилуевым, навестил пару грузин, живших в Питере, а потом подошел к дому 134 на Невском проспекте и зашел в подъезд, где жили Сура Янкель-Фроймовна Готесман двадцати семи лет, дочь каменец-подольского купца, Абель Шевелевич Левенсон, тридцати пяти лет, хозяин квартиры, мещанин Могилевской губернии, Моисей Шевелевич Левенсон, двадцати одного года, ученик Петербургской консерватории, Элька Шевелевна Левенсон, тридцати лет, повивальная бабка из Сестрорецка и Лейзер Абрамович Берсон, тридцати пяти лет, аптекарский помощник из Смоленска. Среди обитателей этого иудейского анклава на главном проспекте Российской империи пламенных революционеров не было, и что делал там два часа товарищ Коба — остается загадкой. Вряд ли это место встречи в целях конспирации избрал сам полковник Еремин, отлучившись для этого из своего Особого отдела Департамента полиции, но чем черт не шутит!

Где-то там в охранительных верхах явно шла какая-то полемика вокруг Джугашвили, отразившаяся в обмене депешами типа:

«Телеграфируйте случае выезда Джугашвили, кроме Вологды, есть ли препятствия к аресту».

«Прошу не подвергать аресту, выезде сопровождать наблюдением».

И т. п.

Вся эта кутерьма закончилась тем, что товарища Кобу 9 сентября без десяти восемь утра все же так арестовали. Арест происходил в гостинице «Россия», и при этом у арестованного среди прочих мелочей обнаружились географическая карта и самодельный немецко-русский разговорник: абрек явно готовился к выходу на международную арену, но пока что оказался в Петербургском доме предварительного заключения. Обнаружился у него и паспорт на имя крестьянина Орловской губернии Петра Чижикова, который он прихватил у «друга». Вообще говоря, у товарища Кобы наблюдалось в те годы патологическое пристрастие к чужим документам, даже когда они ему были совершенно не нужны.

С товарищем Кобой в Питере развлекалась местная охранка, но это не значит, что он был безразличен обитателям иных охранительных высот. Его рейтинг рос на глазах, и уже даже не заведующий Особым отделом полковник Еремин, а сам вице-директор Департамента полиции Е. С. Виссарионов запросил письменные сведения о нем у охранного отделения и поместил их в

специальную папку. Это свидетельствует о том, что на товарища Кобу у полиции были определенные планы. В какой степени они реализовались ранней осенью 1911 года, можно только предполагать, но из материалов сыска почему-то исчезли упоминания о предметах, находившихся при вожде во время его ареста.

Ввиду того, что, как и при любом другом аресте, к делу товарища Кобы прикоснулось множество непосвященных людей, над ним опять нависла угроза ссылки в отдаленные края, но опять-таки, как всегда, в дело вмешались правильные силы, и Очередное совещание определило для арестанта более страшное наказание: отправить его своим ходом куда он захочет. Товарищ Коба захотел вернуться в Вологду, и его желание было исполнено. В этот почти родной ему город он, только что находившийся под арестом пламенный революционер, уехал поездом, как свободный и добропорядочный гражданин, загнивающей, по его искреннему мнению, Империи. Мы присоединимся к этому его мнению, так как сам факт свободного перемещения по стране большевистских бандитов свидетельствовал, на наш взгляд, о серьезном и, как показали дальнейшие исторические события, необратимом загнивании. Процесс пошел, как говорится.

Путешествие товарища Кобы, получившего проходное свидетельство для проезда в Вологду, тоже не лишено непоняток. Для начала он, выйдя из предвариловки в Питере 14 декабря 1911 г., куда-то пропал на десяток дней. По слухам, он задержался на эти дни в Питере, чтобы еще побаловаться революционными развлечениями. Сделать ему это было несложно, так как описание его примет, которым снабдили филеров, почему-то имело мало общего с оригиналом.

Прибыв в Вологду 24 декабря и для исполнения известного принципа: если я чего решил, то выпью обязательно, он отправился отметить свой приезд к П. Чижикову. Выпив, товарищ Коба ощутил чары еще не покинувшей его любви к юной невесте хозяина, написал ей открытку: «Ну-с, «скверная» Поля, я в Вологде и целуюсь с «дорогим», «хорошим» «Петенькой». Сидим за столом и пьем за здоровье «умной» Поли. Выпейте и вы за здоровье известного вам «чудака» Иосифа». На этой легкомысленной открытке красовалась обильная телесами Афродита, так что вопрос о том, читает ли Поля подаренную им полезную и нужную книгу П. С. Когана, вероятно, показался товарищу Кобе неуместным.

Вообще революционный коллега Чижиков в Вологде был, можно сказать, светом в окне для товарища Кобы, и если бы его не было, то наш вождь был бы вынужден ограничиться

общением с Афроимом Левановичем Бейрахом, Марией Берковной Гершанович, Семеном Коганом, Мейером Абрамовичем Черновым и другими представителями этой разновидности корифеев русского социал-демократического движения. 12 февраля 1912 г. его посетил друг Серго Орджоникидзе, которому товарищ Коба в 1937 году вложит в руку пистолет и с удовлетворением узнает, что друг сердешный этот пистолет использовал как надо. Все-таки приятно иметь дело с горным орлом, сразу же понявшим, что от него ожидает вождь, не то что паршивый писака-еврей Кольцов-Фридлянд, которого вождь напрямик спросил, есть ли у него пистолет и не думает ли он из него застрелиться, так этот тупица ничего не понял, пришлось его кончать обычным способом. Мы, однако, отклонились от канвы нашего романа, а заходить далеко вперед, как уже говорилось, в наши планы не входит.

Поэтому возвратимся к визиту товарища Серго, который приехал в Вологду не для пустой дружеской болтовни и не для приятных кавказских тостов, а чтобы поторговаться с товарищем Кобой в свете решений Пражской конференции (о которых участник этого сборища друг товарища Кобы Роман Малиновский сразу же донес своим хозяевам в охранке), предусматривавших использование нашего вождя в составе вновь образованного «Русского бюро» с окладом жалованья 50 рублей в месяц. Сторговались, и товарищ Серго доложил по начальству: «Окончательно с ним столковались; он остался доволен исходом дела».

Получив от ЦК задание, а от товарища Серго деньги и явки, товарищ Коба стал готовиться к очередному побегу. Как бы прощаясь с романтическим вологодским этапом своей бурной жизни, товарищ Коба 15 февраля 1912 г. посылает «умной» Пелагее трогательную открытку, в которой сухая деловая информация завершалась игривой фразой, чему соответствовала картинка: скульптура, изображающая влюбленную пару, слившуюся в экстазе. И через две недели после этого товарищ Коба бесследно исчез из Вологды.

Объяснение этому внезапному исчезновению мы знаем: товарищ Коба отправился исполнять предназначенные ему партией функции большевистского коммивояжера. Путая следы, товарищ Коба-Сталин уже в тот же день Кривого Касьяна (год был високосный) появился в Москве, потом сразу же отправился в Питер и, не задерживаясь в столице, ринулся в Тифлис с пересадкой в Ростове-на-Дону. Проведя там месяц и занимаясь черт знает чем, он вновь с пересадками в Ростове-на-Дону и в Москве ринулся в Питер. Читатель, конечно, понимает, что товарищ Коба-Сталин

в своих поездках не просто тратил деньги партии, возвращенные ее Центральному Комитету хранительницей общака Кларой Цеткин, но везде всеми силами занимался приближением большевистской революции. Эта его кропотливая работа была замечена охранкой, и в ее циркулярах крестьянину Тифлисской губернии и уезда села Диди-Лило Иосифу Виссарионовичу Джугашвили были присвоены человеческие профессии: «конторщик, бухгалтер», не чуждые его канцелярским настроениям.

Далее в канонизированной биографии товарища Сталина начинают звучать фантастические мотивы: в его синоптических жизнеописаниях твердо указывается, что он, будучи нелегалом, лично создал легальную газету «Правда» и наладил ее выпуск. Такого, естественно, не могло быть никогда. Газету «Правда» по идее купеческого сына-миллионера Тихомирнова и по указанию Старика (Ленина) «организовал» Федор Федорович Ильин-Раскольников, впоследствии выброшенный из окна французского отеля наемными убийцами, посланными товарищем Сталиным, а вся редакционная рутина легла на плечи Каменной Задницы (Молотова).

Что касается товарища Кобы, то он в Питере отсиживался на квартире большевика Полетаева, пользовавшегося неприкосновенностью как депутат Государственной Думы, а когда 22 апреля (в день выхода первого номера «Правды»), вышел погулять, то сразу же был арестован (за месяц до ареста Ф. Ф. Раскольникова) прямо на улице.

В это время в охранительных кругах Империи, вероятно, поняли, что они переоценили товарища Кобу и что он не занимает серьезного места в большевистской иерархии. Возможно, этому прозрению содействовали перехваченные охранкой письма различных большевиков, содержавших информацию о том, кто есть ху в партии. Вот одно из таких писем: Н. К. Крупская — Г. К. Орджоникидзе: «Получила письмо от Ивановича, развивает свою точку зрения на положение дел, адрес обещает дать через месяц. Видно, что страшно оторван от всего, точно с неба свалился. Если бы не это, его письмо могло бы произвести гнетущее впечатление» (9 февраля 1912 г.).

Кроме того, на службе у охранки к этому времени уже состояло довольно много пламенных революционеров из числа большевиков и среди них одна из ярчайших звезд большевистского движения — Роман Малиновский, к которому товарищ Коба весьма напористо лез в друзья, что, ежу понятно, могло быть чревато осложнениями, вплоть до потери ценнейшего агента. По-

видимому, такой знаток всех тонкостей политического сыска, как А. М. Еремин, учитывая все эти обстоятельства, пришел к выводу, что в новых условиях товарища Кобу для пользы дела следует изолировать — уже не ради прикрытия, а по-настоящему, — и 12 апреля он как исполняющий обязанности вице-директора Департамента полиции пишет в Петербургское охранное отделение: «Департамент полиции просит вас уведомить, прибыло ли названное лицо в столицу», присовокупляя, что «Джугашвили подлежит аресту». Однако жернова имперских охранительных мельниц крутились довольно медленно, и товарищ Коба еще некоторое время продолжал получать кое-какие льготы по охранительной линии: терялись обнаруженные у него крамольные документы, а принимаемые в отношении него меры, в частности, по освобождению его из-под ареста для следования в очередную ссылку, были более полезны для него, чем для его преследователей. Да и само решение о высылке его в Нарымский край на три года на фоне числившихся за ним множественных побегов и других прегрешений революционного характера выглядит детским наказанием типа: «Стань в угол!»

Правда, в Нарымский край товарищ Коба был вынужден следовать этапным порядком, но это решение петербургской охранки не означало усиления строгости его содержания по месту ссылки в селе Колпашеве Нарымского края, куда он прибыл числа девятнадцатого июля 1912 года по Оби из Томска, где он сделал пересадку из поезда на речной пароходишко. Пообщавшись несколько дней с большевиками, сосланными в село Колпашево, товарищ Коба переехал в Нарым, где пробыл 38 дней, после чего 2 сентября 1912 года сбежал. Искать беглеца те, кому положено, не торопились, и его розыск был объявлен почти через два месяца — 3 ноября. За время, прошедшее со дня его побега до объявления розыска, товарищ Коба успел побывать в Петербурге, где принял на хранение партийную кассу — общак, уцелевший при аресте Стасовой, затем посетить Москву, где встретиться с Малиновским, оттуда отправиться в Тифлис, где вместе с Камо не справился с очередным эксом на дороге в Коджори, еще раз побывать в Москве и Питере, спровоцировать во второй половине октября питерскую забастовку в преддверии выборов в Государственную Думу. Вероятно, Малиновский, как все крупные игроки, вел и свою игру, иначе трудно объяснить, почему о местонахождении товарища Кобы он проинформировал своих партнеров в охранке лишь 27 октября, что дало возможность нашему вождю спокойно выехать 29 октября 1912 г. через Финляндию в Краков. Еще через

два дня в тот же Краков из Москвы для встречи со Стариком и другими товарищами по святому революционному делу отправился высокопоставленный и высокооплачиваемый агент имперской охранки Роман Вацлавович Малиновский. Хорошая компашка собиралась в Кракове!

ГЛАВА IX.
Эпизод четвертый. Одна тысяча девятьсот тринадцатый год, или Венский вальс

Несмотря на то, что в этой главе имеются ретроспективные картины 1906 года, и, кроме того, часть описанных в ней событий относится к 1912 году, в ее название вынесен 1913 год, как переломный в судьбе товарища Кобы, год, после которого к закавказскому абреку почти одновременно был потерян интерес и в заграничном большевистском руководстве, и по другую сторону фронта — в имперских охранительных органах. Это был год, после которого он, как его тезка — «неуловимый Джо» из известного анекдота, вдруг оказался никому не нужен на целых четыре сезона большевистских страданий, появившись на исторической сцене уже после того, как «товарищи» сделали почти всю «революционную работу» и были близки к захвату власть в истекающей кровью стране. Товарищ Коба не стал громко кричать: «А вот и я!» Он тихо пролез в весьма разомкнутые большевистские ряды и со временем перетянул на себя всю эту завоеванную другими власть.

1913 год и для самого вождя, вероятно, имел какое-то мистическое значение. Именно этот год он выбрал впоследствии для сравнения всех достижений счастливого советско-совкового народа со статистическими характеристиками проклятого царского режима, который, как он доказывал, не мог произвести необходимого количества чугуна и стали на душу населения в стране.

Мистика же, как известно, располагает к фантазиям, что и отразится, уж извините, на последующих страницах нашего романа. До сих пор, как заметил читатель, мы не отклонялись от

документов, но их набор, увы, не обладает идеальной полнотой. Хочется дать волю воображению и, не упуская из поля зрения реальные обстоятельства, привязать к ним какие-нибудь умеренно-фантастические версии. К числу привлекательных версий безусловно относятся предположения о возможных встречах различных известных людей друг с другом в те времена, когда они еще не были уверены, что им предстоит стать историческими личностями.

Например, могли ли встретиться Ленин и Гитлер до того, как они возглавили страны и народы, и встретиться так, чтобы об этом эпизоде их жизней не осталось прямых документальных следов? Конечно, не могли, если бы Старик провел всю свою жизнь в Шушенском, а фюрер — в Вене, но если учесть их подвижность, то следует рассмотреть траектории их передвижения по Земле и поискать точки пересечения этих траекторий в пространстве и во времени, и тогда уже делать выводы. Занявшись этим делом всерьез, мы без труда найдем в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской такие слова: «...время провели в ресторане, славившемся каким-то особенным сортом пива. «Hof Brau» назывался ресторан. На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы «Н.В.» — «Народная Воля» — смеялась я. В этой-то «Народной воле» и просидели мы весь вечер... Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя...»

Эта запись Крупской относится к началу августа 1913 года, когда она и Ильич, возвращаясь из Берна в Поронин, решили ехать через Цюрих, Мюнхен и Вену и в Мюнхене «пробыли лишь несколько часов — от поезда по поезда».

Как видим, в воспоминаниях Крупской речь идет об известном мюнхенском пивном ресторане «Хофбройхаузе», сыгравшем большую роль в биографии Бесноватого: именно здесь произошла первая «проба сил», известная в мифологии третьего рейха как «Сражение в Хофбройхаузе» («пивной путч»). Но это было позже — в ноябре 1921 года, а тогда, когда Ильич посетил эту пивнушку, шел третий месяц пребывания в Мюнхене Адольфа, впервые приехавшего в этот город в мае предвоенного года. По воспоминаниям его мюнхенских знакомых, Адольф сразу же полюбил «Хофбройхауз» и, несмотря на духоту, торчал там часами, читал разложенные на столиках газеты и, как и до этого в венских кафе, встревал в политические дискуссии. Его любовь именно к этой пивной выразилась и в том, что здание «Хофбройхауза» неоднократно возникало на акварельках Адольфа.

Сопоставляя эти безупречные исторические факты, нетрудно себе представить, что, когда Ильич смаковал мюнхенское пиво в «Хофбройхаузе», Адольф за соседним столиком просматривал прессу либо вел шумную дискуссию в другом углу зала и тем привлек внимание нашего вождя. Если же в то время, когда Ильич шел в пивную, Адольф сидел со своим мольбертиком в каком-нибудь уютном уголке на Плацль вблизи «Хофбройхауза», то небезразличный к искусству наш «вечно живой» вполне мог остановиться, чтобы через плечо художника взглянуть на картину. В любом из описанных случаев Ильич, великолепно владевший немецким, мог перекинуться с Адольфом парой слов, и ни одна из этих возможных сцен н и к о г д а не может быть опровергнута каким-либо документом либо иным убедительным доказательством, ибо в те несколько мюнхенских часов Ильич и Крупская встретились и по разным поводам переговорили с десятком горожан, начиная от кассира Главного вокзала до официанта в пивной. Все эти встречи и разговоры недолго погостили в памяти их участников и ушли в небытие, но это не значит, что их не было.

И описанная здесь вполне правдоподобная мюнхенская ситуация, и не менее правдоподобные события и обстоятельства, образующие ряд важных сюжетных линий нашего романа, освящены явившейся полтора столетия назад мудрой и вещей фразой: «Бывают странные сближенья...»

Еще более удивительные сближения имеют место в судьбах Сталина и Гитлера. В их бытии также имеется точка пересечения жизненных траекторий во времени и пространстве, но и за пределами этой «точки» существует большое количество биографических совпадений:

— матери обоих выродков мечтали, что их чада станут священниками;
— оба считали себя людьми, не чуждыми искусству;
— оба были неучами, претендовавшими на всезнание, и оба считали себя корифеями всех наук, но Сталин умел постигать суть вещей, а Гитлер был обыкновенным демагогом;
— оба сочиняли сентиментальные стишки;
— оба были тайными осведомителями секретных служб режимов, против которых боролись их «партии»;
— оба захватили лидерство в партиях, основанных другими политиками;

— оба убили или довели до самоубийства своих любимых женщин (Надежду Аллилуеву и Гели Раубаль) примерно в одно и то же время;
— оба коварно расправились со своими верными друзьями и помощниками;
— оба считали себя великими полководцами;
— оба в начале собственного жизнеустройства охотно пользовались помощью и доброжелательностью евреев;
— оба, достигнув неограниченной власти, стали инициативными юдофобами;
— оба правили странами и народами, к которым не принадлежали;
— оба с большим уважением относились друг к другу (Гитлер во время войны в своих «застольных беседах» каждую неделю хоть раз упоминал «гениальность» Сталина, а Сталин в это время изучал «Майн кампф», рекомендуя эту книгу всему своему «партийному» окружению).

Был еще один мелкий общий штришок в их биографиях: оба они, еще безвестные и неустроенные, в 1913 году более месяца в одно и то же время находились в столице «лоскутной» Австро-Венгерской империи Вене. Именно этому совпадению посвящена данная полуфантастическая глава. Оно, это совпадение, обладает для меня какой-то мистической притягательностью, и я к нему обращаюсь не первый раз.

1

Жизнь наша так устроена, что события, представленные великим Екклесиастом в закономерной последовательности, в действительности, к сожалению, происходят одновременно: например, кто-то строит, а кто-то в то же самое время разрушает, причем одно и то же еще не достроенное здание, и если считать, пусть условно, что Петр Аркадьевич Столыпин что-то такое пытался построить в Российской империи, то кто-то непременно в то же самое время и с не меньшей энергией работал над тем, чтобы разрушить им, да и другими, построенное.

При этом, если «строители» имели возможность собираться на виду у всех и всех посвящать в некоторую часть своих планов, то «разрушители», пока они не поменялись местами со

«строителями», должны были, естественно, прятаться, встречаться друг с другом тайно, жить в постоянном напряжении. И только за границей — вне пределов досягаемости российских охранительных служб — они могли свободно вздохнуть, расслабиться и говорить во весь голос: местным властям они там не угрожали, а судьба России остальной мир не очень беспокоила. Поэтому «революционеры» всех мастей с большой охотой проводили свои крамольные собрания вдали от родных осин, а кое-кто из них назад в Империю и вовсе не торопился.

Одно из таких собраний в конце апреля 1906 года, как уже говорилось, проходило в Стокгольме. Для участия в нем съехалось более ста человек из разных концов Российской империи и из весьма приятных уголков старой доброй Европы «золотого века», где некоторые из них с большим удовольствием «скрывались». Прибывшие расселялись в соответствии с личными возможностями, а о тех, кто каких-либо возможностей вообще был лишен, позаботилась партия.

Естественно, партийные иждивенцы жили весьма скромно, наслаждаясь непривычной чистотой небогатых апартаментов, арендованных дамами-распорядительницами, а так как многие не знали даже понятного здесь немецкого, не говоря уже о шведском, то им было рекомендовано расселиться попарно и поближе друг к другу, чтобы «не потеряться» и не страдать от мук немоты.

В результате этих расселений в одной из небольших комнатушек на втором этаже над скромным ресторанчиком в доме какой-то стокгольмской фру поселились два молодых человека. Один из них — русский — прибыл первым и в одиночку — кружным путем через финскую глубинку, другой — кавказец со странной фамилией Иванович — ехал в Стокгольм с большой компанией на специально зафрахтованном партией пароходе.

Каждый из них своим соседством остался доволен: кавказец — тем, что ему попался в сожители простой, недалекий и симпатичный паренек, к тому же невысокий, как и он сам, что для него было очень важно, а славянин — тем, что суровый и замкнутый нерусского облика человек, представившийся Кобой, неожиданно оказался общительным, веселым и жизнерадостным, а его непроницаемые при первой встрече глаза на рябоватой смуглой физиономии вдруг заискрились теплым дружеским вниманием и добротой.

Когда они после заседаний и «товарищеских чаев» оставались вдвоем, то вели бесконечные беседы обо всем на свете.

И здесь кавказец Коба удивил своего соседа Клима основательным, по его, Клима, меркам, знанием мировой истории и литературы и тем, что мог по памяти цитировать огромные фрагменты довольно непростой прозы.

Однажды они вдвоем прогуливались по набережной, расположенной по соседству с их домом-рестораном, и заметили, что в одном месте этого променада люди вели себя сдержаннее и даже дети здесь не шумели и не бегали. Вскоре они поняли, что все дело в сидевшем там на краю набережной рыболове, оказавшемся королем Швеции. Коба и до этого был раздражен всеобщим шведским демократизмом, полностью лишившим смысла такие родные ему слова, как «классовая борьба», «диктатура пролетариата» и т. п. Вид же короля без охраны и свиты с удочкой в руках в ряду прочих рыболовов привел его в тихую ярость, замеченную Климом, но почему-то вылившуюся на совершенно иной раздражитель, не связанный с псевдодемократическим поведением местного венценосца.

— Посмотри, Клим,— сказал Коба, указывая на другой уголок набережной, где один из делегатов их съезда разговаривал с кем-то из местных у каменной ограды,— наш жидок сразу же подцепил жидка шведского!

— Вот ты скажи мне,— продолжил Коба с каким-то непонятным Климу пристрастием, от которого его грузинский акцент еще более усилился,— почему они сразу находят друг друга в любом месте? Ведь у нашего жида и у шведского нет ничего общего! И почему вообще жид из забытого Богом местечка так быстро становится своим в любой стране, осваивает язык и чувствует себя как дома?

— Ты преувеличиваешь, Коба,— отвечал Клим успокоительным тоном,— они такие же люди, как и мы с тобой, но, может быть, те, кого мы знаем, лучше, чем мы, усваивают чужие языки. И среди них есть всякие — образованные и необразованные. Ну какой же, например, из Мартова или Аксельрода глупый местечковый еврей? Они же ведь на равных не только со Стариком, но и с самим Плехановым. Это же европейцы!

— Я не об этом,— гнул свою линию Коба.— Я говорю о том, что получается так, будто у жидов, кроме всяких партий, где они с удовольствием состоят, есть еще какая-то своя всемирная организация, членом которой является каждый жид, где бы он ни родился, и, если для них эта организация является самой главной, тогда для любой партии и для нашей, конечно, они очень ненадежные люди. Я где-то читал, что если взять по одному жиду,

допустим, в России, Америке, Франции, Англии, Австралии и еще черт знает где, где их только нет, запереть их в пустые комнаты и одновременно дать команду играть на скрипке, то все они, не сговариваясь и не зная друг о друге, возьмут одну и ту же ноту. Раньше я смеялся над этой сказкой, но теперь, поездив по России и здесь вот, вижу, что она недалека от истины.

— Думаю, что, если бы ты увидел на набережной в Стокгольме грузина, ты тоже подошел поговорить. Это во-первых. Во-вторых, евреев в разных местах преследовали тысячелетиями. Может, это и сделало их солидарными не только на классовой, но и на национальной основе, а не какая-то там «всемирная организация»! — возразил Клим.

— На Кавказе грузинских евреев не преследуют, а они такие же,— мрачно буркнул Коба.

Клим почувствовал перемену настроения Кобы и мягко сказал:

— Не спеши делать выводы. И постарайся не употреблять слово «жид», оно ведь не кавказское, а польское, и ты можешь обидеть наших товарищей, а среди них есть такие, что тебе очень понравятся, хоть они наверняка состоят во всемирной, попирающей нас, мужчин, организации. Я говорю о женщинах. Ты еврейку пробовал, Коба?

Товарищ Коба, конечно, тут же вспомнил гостеприимную Марию Айзиковну, скрасившую ему одну ночь в сибирской глуши, но решил, что лирика сейчас неуместна, и сурово ответил:

— Не пробовал! Партия — это боевой отряд, а не «заведения», куда, почти не прячась, заглядывают некоторые твои «товарищи»!

— Революционерам тоже нужно отдыхать,— сказал Клим.— И ты еще все попробуешь, когда тебя будут насиловать наши революционерки. Оседлает тебя кто-нибудь, и ты забудешь о политике!

— Женщина не может быть сверху,— заявил Коба, поняв Клима буквально и завершая разговор. Но последнее слово все же осталось за Климом:

— Еще как может! Сам просить об этом будешь!

2

Через час-другой, зашторив окна и укладываясь спать пораньше, чтобы не поддаться бессоннице светлых стокгольмских

весенних ночей, каждый думал о своем. Клим вспоминал горячие губы, ищущие, смелые шаловливые руки и нежные груди одной из «веток Палестины» в русском революционном движении. Коба же оставался во власти своих подозрений. Более того, внезапная непоколебимость его простоватого русачка-соседа в еврейском вопросе породила новую, ранее не занимавшую Кобу проблему, и ее надо было обдумать. Суть же ее выражалась в следующих словах: «Почему у жидов так много защитников. Вот и Клим туда же!»

Коба незаметно погрузился в воспоминания. Он вспомнил, как еще в Гори однажды подбил мальчишек запустить в местную синагогу свинью и запереть ее там. Исполнить намеченное было несложно: свиньи в Гори, по грузинской традиции, не откармливались в свинарниках, а бродили сами по себе, отыскивая пищу, как бездомные собаки, по улицам и огородам, такие же, как собаки, худые и поджарые. Выбор Кобы пал на крупного и крикливого поросенка, принадлежавшего семье Микелашвили. Планируя «операцию», юный гад заранее представлял себе, какие физиономии будут у евреев, услышавших визг ненавистной им твари, когда они придут на утреннюю молитву, как весть об этой шутке облетит весь Гори, и только тогда, чтобы пожать заслуженную славу, выйдет из тени он, Коба, изобретатель и вдохновитель этого подвига.

Однако все вышло по-иному. Рано утром хозяин отправился искать пропавшего поросенка и услышал его крик одновременно с подходившими к синагоге первыми евреями. Освобожденный поросенок с возмущенным визгом бросился к луже и стал пить воду, а Микелашвили и еще несколько грузин, подошедших на шум, сокрушенно качали головами, извиняясь перед евреями, и в один голос с ними просили Господа ниспослать кару на тех, кто надругался над синагогой.

Более того, уже на ближайшей службе отец Акакий обратился к собравшимся в церкви со словами: «Сегодня ночью какие-то негодяи осквернили одну из обителей нашего Господа, забыв о словах Его Сына: В Доме Отца Моего много обителей...»

— Какое дело христианину до синагоги? — спросил один из этих негодяев своего отца.

Виссарион Джугашвили был в тот момент на редкость трезв и серьезен и потому ответил кратко и точно:

— Бог у нас один. Бог Авраама, Исаака и Якова. Других пока нет.

— Будут,— хотел сказать его изобретательный отпрыск, но на всякий случай промолчал, ибо трезвый Виссарион был гораздо опаснее, чем пьяный: убежать от него было труднее.

Триумфа же не получилось, и жажда славы, обуревавшая автора несостоявшейся шутки, осталась неудовлетворенной. Более того, ему пришлось тщательно скрывать свою причастность к этому позорному событию, и он это запомнил.

Потом от этих давних «дел» память перенесла его к недавнему прошлому, когда он сам находился под впечатлением собственной писанины, посвященной смакованию «национальных составов» «большевиков» и «меньшевиков». В ней он с «цифрами в руках «доказал, что в меньшевистской фракции большинство принадлежит евреям, а в «большевистской» — «истинно русским», исходя из чего «большевикам», как «истинно русским людям», не мешает устроить в партии «погром». Впрочем, эта антисемитская шутка лично «большевику» Кобе не принадлежала: ее придумал другой «большевик» — Алексинский, а Кобе она просто очень понравилась, и ему казалось, что она должна понравиться всем. Поэтому на митинге грузинских и русских рабочих в Батуми он на языке, понятном, как он считал, «пролетариату», развил эту тему.

— Ленин,— сказал «большевик» Коба,— возмущен, что Бог послал ему таких товарищей, как меньшевики! В самом деле, что это за народ?! Мартов, Дан, Аксельрод — жиды обрезанные! Да старая баба Вера Засулич. Поди и работай с ними. Ни в бой с ними не пойдешь, ни на пиру не повеселишься. Трусы и торгаши!

Уже в самом начале этой тирады Коба услышал глухой шум в окружавшей его толпе, а когда дело дошло по «бабы Веры», чья боевая слава еще гремела на Руси, послышались выкрики: «Негодяй!», «Убрать провокатора!», «Эй, кто ближе, дайте ему в рыло!»

Трусливый от природы Коба растерялся, но тут набежала полиция, разогнала народ, а его и еще двух зачинщиков-ораторов рассовали по камерам батумской тюрьмы. Только там он почувствовал, какого позора он избежал из-за «жидов обрезанных», и этот страх он *им* тоже припомнит!

Злая память и жажда мести были присущи ему с малых лет. Уйдя из семинарии и перебиваясь с хлеба на воду на еще не ставшей для него прибыльной «революционной работе», он свободными вечерами бродил по богатым районам Тифлиса, воспитывая в себе «классовую ненависть». Особо запомнились ему два больших венецианских окна одного из красивейших домов в Сололаки. Из этих окон в сумерках лился яркий, слегка подкрашенный прозрачными шторами, розоватый свет, а там — за стеклом и воздушной тканью — почти всегда можно было наблюдать

одну и ту же картину: скромно и элегантно накрытый стол, прозрачное красное вино в хрустальных графинах и бокалах, несколько офицеров средних чинов в красивых, будто новеньких мундирах, расположившихся в креслах и на придвинутых к столу мягких стульях, неизменная гитара в руках черноволосого с ранней сединой майора, одна, иногда две очаровательные светлые женщины, на европейский манер сидящие среди мужчин...

Под эти окна Коба приходил неоднократно, и всякий раз его душонку охватывала иссушающая зависть, которую он гнал ненавистью и мечтами о том, как он, Великий Мститель, воздаст всей этой беспечной компании за «народные страдания». Свое получат все, включая недоступных ему (пока!) чистых и светлых женщин. Каждый — по делам своим, и все вместе — за его, Кобы, сегодняшнее бессилие.

Каково же было его удивление, когда он лет тридцать спустя в одном из спектаклей «своего» Художественного театра увидел эту подсмотренную им когда-то картину, описанную великим писателем и воссозданную на сцене великими актерами. Эта картина с новой силой непрерывно манила его, и он потом десятки раз приходил на этот спектакль, чтобы вновь и вновь пережить свою молодость на темных тифлисских улицах, свою зависть и ненависть к этому подсмотренному и недоступному ему прекрасному, сверкающему всеми красками жизни миру, еще раз пережить свою мечту не оставить от этого мира камня на камне и ощутить сладость победы, сладость сбывшейся мечты, сладость свершившейся мести и сладость власти над жизнью и смертью всех этих жалких офицеришек «белой гвардии», сотнями и тысячами расстрелянных по его приказу, и их рыжих стареющих потаскух.

3

Коба еще и еще раз перебирал в памяти свою беседу с Климом и убеждался, что и на этот раз он был неправильно понят. Пусть он по своим личным мотивам евреев не любит, но в основе его высказываний лежит не его предвзятое отношение к этому племени, а лишь забота о партии. Мысли его просты и ясны: поскольку большевизм — движение глубоко законспирированное, то в нем должны состоять исключительно люди ему преданные. К услугам же тех, кто имеет многочисленные внепартийные неконтролируемые связи, а евреи именно к таковым и относятся, конспиративное

движение прибегать не может. Вот и все. Во время таких раздумий сам себе Коба представлялся рыцарем без страха и упрека, хотя где-то на задворках памяти, скорее в его подсознании, существовали и «страхи», и «упреки», имевшие вполне конкретные очертания деятелей из охранительных структур.

Что касается еврейских погромов, то и здесь его, Кобы, позиция является ясной и четкой: ни большевики, ни тем более он, Коба, не призывали и не призывают к погромам. Наоборот, они «обличают» вину и участие режима и «сочувствуют» пострадавшим. Но для большевистского движения погромы, как и войны, полезны, ибо они дестабилизируют положение в стране, приближают очередную «революционную ситуацию». Борцы же против погромов, естественно, вредны большевикам и мешают «революционному делу». Поэтому Коба, читая, например, изложение проповеди епископа Антония Волынского с обличением кишиневских громил в том, что «они уподоблялись Иуде: тот целованием предавал Христа, омраченный сребролюбия недугом, а эти, прикрываясь именем Христа, избивали его сродников по плоти, чтобы ограбить их стяжания», искренне возмущался «двуличием попов», пичкающих людей сказками о преступлениях Израиля, но не дающих излиться возбуждаемым им народным чувствам.

Вместе с тем погромные истории существенно усилили его подозрения в наличии невидимых нитей, связывающих воедино все еврейство земного шара: почему-то, когда в марте 1903 года во время выступления русских рабочих в Златоусте погибло 45 человек и было ранено 83, просвещенный мир не обратил на это никакого внимания, а когда месяц спустя в Кишиневе произошел погром с несколько меньшим, по сведениям Кобы, количеством жертв (Коба, как Иудушка Головлев, страшно любил цифры — цифры «членов», цифры убитых, любую человеческую статистику), как по мановению руки взвыла вся мировая пресса, в Бессарабию зачастили зарубежные корреспонденты, широкой рекой потекла заграничная помощь. Такое резкое «неравноправие» искренне возмущало Кобу. Увидеть же разницу между людьми, сознательно идущими в бой и погибающими на полях сражений, откуда каждый по своей воле мог уйти, и женщинами, детьми и стариками, убитыми в своих домах, из которых бежать им было некуда, он понять не мог — ни тогда, ни потом, когда он оставлял на убой немцам сотни тысяч беспомощных людей. «Люди есть люди, и все они равны в любых ситуациях»,— так рассуждал он.

4

Не прошло мимо товарища Кобы и явление «Сионских протоколов». Возвращаясь из Таммерфорса с первой всероссийской большевистской конференции, он во время пересадки в Петербурге приобрел брошюрку, показавшуюся ему интересной. Называлась она «Корень наших бед» с подзаголовком «Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности. Отрывки из древних и современных протоколов Всемирного съезда франкмасонов» и представляла собой несколько расширенную газетную «крушеванскую» версию сфабрикованных Рачковским «Протоколов».

И хотя от брошюрки пахло охранкой, об участии которой напоминало и мгновенное получение цензурного разрешения, и мгновенное издание в типографии Императорской гвардии (?!), Коба все-таки был приятно удивлен этим первым «документальным» подтверждением его предположения о наличии единой еврейской «мировой сети», как бы она там ни называлась.

Усвоение же политико-экономической сущности «Протоколов» он отложил на потом, собираясь обратиться к этому опусу уже дома и на досуге. Но даже самое беглое знакомство с отдельными страницами рачковского шедевра убедило его в том, что брошюрка эта содержит ряд довольно полезных для действующего большевика рекомендаций по формированию внутреннего недовольства в стране, дискредитации власти и другим революционным мероприятиям. В конце концов рекомендации, как и деньги, не пахнут, и если они дельные, то неважно, от кого они получены и кому предназначались.

Однако по пути домой товарища Кобу в поезде слегка обокрали. Среди похищенных вещей оказался и «Корень наших бед». Последовавшая волна переизданий «крушеванской» версии «Протоколов» в шестом и седьмом годах прошла мимо Кобы, занятого в то время иными революционными делами, и их текст в совершенно другой редакции очутился в его руках при ознакомлении с бумагами одного из белогвардейских штабов, захваченных на юге России во время Гражданской войны. Эта «нилусовская» версия сразу же попала в число его настольных книг, как и впоследствии ее закономерное продолжение — «Майн кампф» его временного друга Адольфа.

5

1912 год у товарища Кобы выдался урожайным на аресты, побеги, переезды и даже на заграничные поездки. Две из них с разрывом в месяц состоялись в ноябре и декабре. Путь его лежал в Краков: оттуда тогда пытался командовать русской революцией Ильич, перебравшийся после гибели Столыпина поближе к границам Российской империи. На этих встречах «вождя мирового пролетариата» и молодого «руководителя Русского бюро Центрального комитета большевистской партии» одной из главных тем был «национальный вопрос». Чуткий на слух Ильич без труда убедился, что его собеседник этот проклятый вопрос понимает если и не вполне правильно, то, во всяком случае, именно так, как сегодня нужно партии, а это для истинного большевика важнее, чем какая-нибудь никому не интересная правда. К тому же Коба сам был «националом», и «ленинская линия» в изложении одного национала будет для другого национала более убедительной, чем те же слова да из уст великоросса.

При всей быстроте мысли Ильича переход к поступкам и практическим мероприятиям был у него несколько замедленным. Возможно, здесь вступал в действие последний барьер безопасности, заставлявший его еще раз перед запуском очередной своей идеи в реальный мир обдумать все возможные последствия такой акции. Так или иначе, но когда Ильич созрел, Кобы уже в Кракове не было. Однако, приняв решение, Ильич никогда не шел на попятный, и Коба был вызван вторично.

На радостях от свершения своих планов Ильич поторопился написать Горькому: «Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посурьезнее. У нас тут один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр<очие> материалы».

Но потом собственные познания в части социал-демократического подхода к межнациональным отношениям самокритичному Ильичу показались недостаточными, и поскольку на краковские библиотечные запасы он не рассчитывал, то сразу же предложил Кобе подъехать в Вену и поработать в библиотеке этого веселого города под опекой находившегося там в это время Бухарина (которого товарищ Коба убьет в 1938 году).

Так «чудесный грузин» Коба неожиданно для него самого оказался на венских улицах. К поручению Ильича Коба отнесся очень добросовестно, и поэтому почти все светлое время коротких январских дней 1913 года он проводил в крупнейших венских

библиотеках, а потом не спеша направлялся на Фельбельштрассе, где с помощью какого-то местного «товарища», с которым его познакомил Бухарчик, снял крохотную «меблирашку». Несколько твердо заученных немецких слов позволяли ему решать все бытовые проблемы, а книгохранилища, в которых ему пришлось работать, имели русские переводы многих интересовавших его сочинений Каутского, Бауэра и др. Поэтому практические советы Ильича, как быстро и надежно усваивать материал, опубликованный на незнакомом или малознакомом языке, почти ему не пригодились. Кроме того, поблизости всегда находился великолепно владевший немецким Бухарчик.

6

Венские недели пробежали быстро, и в предпоследний вечер своего пребывания на берегах Дуная Коба был погружен в раздумья, навеянные прочитанными трудами теоретиков практического социализма. Пока он шелестел страницами в старинном читальном зале, ему казалось, как некогда доброму королю Анри IV, слушавшему словесное состязание двух обличавших друг друга адвокатов, что все участники дискуссии правы, но теперь, когда все прочитанное улеглось и упорядочилось в его от природы великолепно организованной памяти, ему предстояло сделать выбор. Решение, однако, было непростым, и после нескольких попыток сформулировать его для себя на ходу он отложил его на утро — «на свежую голову» и стал просто глядеть по сторонам.

В этот вечер он, как всегда, сделал небольшой крюк, чтобы пройти по блистательной Рингштрассе, где очертания некоторых зданий чем-то напоминали ему парадную часть Головинского проспекта в его почти родном Тифлисе. Нравился ему и знаменитый Бургтеатр. Он попытался прочитать афиши, но кроме знакомого слова «Тристан» ничего не разобрал.

Вскоре он пересек несколько узеньких кривых улиц старого города и взял курс на пятнадцатый городской район, где находилась его «меблированная комната», а его мозг опять вернулся к национальным проблемам. Он вспомнил о том, что его первые стокгольмские выводы о присущей евреям уникальной способности к адаптации в любом окружении и в любой местности лишь укрепились во время последующих поездок в Лондон и затем, в декабре только что завершившегося года, в Краков и Поронин. Теперь

же, вдали от «товарищей», он на улицах Вены и вовсе не мог отличить еврея от «коренного» австрийца-венца, и, когда вслушивался в по-южному громкие и достаточно темпераментные «выяснения отношений», ему временами казалось, что тут почти все — евреи, что город буквально кишит ими, хотя эти «наводнившие» город евреи ничего общего не имели с евреями из Гори, собиравшимися в оскверненной им, Кобой, синагоге. Впрочем, зачем было так далеко ходить: торговавшие в Кракове местечковые евреи с востока и юго-востока Австрийской империи ничего общего в глазах Кобы не имели ни с местными евреями-венцами, ни с присутствовавшими на этом же рынке венгерскими евреями. Получалось, что, действительно, евреи — не единый народ с общей культурой и историей, а нечто вроде членов какой-то единой международной организации, и, может быть, авторы брошюрки о «мировом заговоре» евреев попали в самое яблочко?

В то же время перед Кобой был и другой хорошо известный ему пример — армяне, как и евреи, живущие в рассеянии несколько веков или даже тысячелетий. Может быть, в таких случаях все-таки проявляются некие невидимые нити, создающие общность людей, близкую к марксистскому понятию «нация»? Но если такие связи существуют, то их совокупность должна, как требует марксизм, иметь свое вполне научное и материалистическое название, например: «общность психического склада». Если он введет в марксизм это открытие, то как раз этой «общностью психического склада» поставит знак равенства между евреем-торгашом из Поронина и, например, лакированным умником, встреченным им здесь в Вене у «меньшевика» Скобелева, когда он зашел к нему, чтобы передать пакет от Ильича. Коба сначала подумал, что у того в гостях иностранец: разговор шел на немецком, как он установил по одному-двум знакомым словам, но потом гость попрощался с хозяином на чистом русском языке.

— Кто это? — не удержавшись, полюбопытствовал Коба.

— Вы не знакомы? — схитрил будущий министр труда во Временном правительстве, не собиравшийся знакомить своих гостей друг с другом.— Это Троцкий!

— Слышал, но мы еще не знакомы,— ответил Коба.

Слегка надменная физиономия Троцкого с тех пор часто возникала в его памяти, когда он думал о евреях. И вот теперь он изобрел новое понятие: «общность психического склада»!

«А что, звучит неплохо!» — подумал Коба и решил, что вставит этот термин в свою работу и посмотрит на выражение лица Ильича, когда тот до него доберется: споткнется или проглотит?

И лишь остановившись в своих размышлениях на этом удачном термине, Коба вдруг ощутил, что его душа, душа опытного конспиратора, уже некоторое время сигнализирует ему о том, что он находится под наблюдением. Коба был поражен: кому оказался нужен неизвестный русский революционер на сумеречных венских улицах? И тем не менее, проанализировав сигналы, поступившие в его подсознание, он был абсолютно уверен, что темная фигура следует за ним на некотором отдалении уже несколько кварталов, и захотел рассмотреть ее поближе. Он заметил впереди сноп света, падающий из двух больших окон и выхватывающий из подступающей тьмы приличный кусок тротуара.

Дойдя до этого места, Коба сделал несколько шагов и остановился там так, чтобы его из комнат за окнами не было видно и чтобы он мог разглядеть освещенный интерьер во всех подробностях. У него было не менее трех минут до того момента, пока подозрительная фигура попадет в ярко освещенную полосу и поравняется с ним, и тогда он, резко повернувшись к ней, мгновенно оглядит ее от пяток до макушки и навсегда законсервирует этот случайный образ в своей памяти.

А пока Коба решил полюбоваться открывшимся перед ним мгновением чужой незнакомой жизни. Однако от этой случайно подсмотренной картины у него заболело сердце: там за окном за прозрачными тюлевыми гардинами стоял изящно сервированный стол. На блюдах и тарелках были видны незнакомые Кобе яства, а в хрустальных бокалах и графинах играло в электрическом свете прозрачное розовое вино. Молодой офицер, чей китель был небрежно наброшен на спинку стула, сидел у фортепиано, и его движения сливались с нежной музыкой, слабое звучание которой медленно обволакивало Кобу; за столом вдоль стены, увешанной фарфоровыми тарелками, под портретом императора в свободных позах сидело еще несколько молодых военных, и один из них смотрел на красивую светловолосую женщину с полузакрытыми глазами. Все увиденное так напомнило Кобе «окно классовой ненависти» в Сололаки, что он захлебнулся от ярости и громко сказал на родном языке:

— Я снова приду сюда, и тогда под *моим* портретом здесь будут сидеть те, кто сейчас спит в ночлежках и на вокзалах.

В этой своей ярости он потерял счет времени, и только тихие, но четкие шаги, раздавшиеся у него за спиной, напомнили ему, зачем он остановился.

Когда он резко повернулся к прохожему, его глаза все еще горели желтым огнем от распиравшей его ненависти. Он увидел

невысокого худого молодого человека, одетого бедно, но аккуратно, с бледным невыразительным лицом. Нижняя часть этого лица выглядела какой-то неоформленно смазанной, а скривившийся рот наводил на мысли об истерии. Впрочем, соединив в своем представлении все эти детали, Коба был поражен: на него смотрели исполненные ненависти, столь же сильной, как и его собственная, чуть водянистые глаза, а перекошенные губы при этом выражали крайнюю брезгливость и, казалось, шептали какие-то проклятия.

«Неудовлетворенный педераст? Проститутка в штанах?» — подумал Коба, ощутив слабый запах дешевого одеколона.

И вдруг этот сразу показавшийся ему знакомым запах напомнил ему одну сцену, коей он совсем недавно оказался случайным свидетелем. Он зашел перекусить в крохотное венское кафе, где кормили вкусно и недорого. Когда подали незатейливую еду, он под непонятный говор посетителей ушел в себя так глубоко, что перестал воспринимать все, что его окружало, и в эту реальность его вернул какой-то дикий крик. Встрепенувшись, он увидел невесть откуда взявшегося молодого человека, а его крик, временами напоминавший Кобе поросячий визг, оказался речью, содержания которой Коба не понял, но несколько раз его слух уловил слово «юде». Иногда «оратор» был виден Кобе в профиль: бледное лицо, белесые, горящие ненавистью глаза, задранный к небу длинный нос, прядь волос, спадавшая на невысокий лоб. У Кобы не было сомнений, что перед ним психопат, но он с удивлением увидел обращенные к этому психу внимательные лица людей, случайно оказавшихся в кафе.

Все эти картины в какое-то мгновенье ожили в памяти Кобы, и он, еще раз просмотрев их, был почти уверен, что лектор-истеричка из кафе и сжигающий его сейчас ненавидящим взором «педераст» есть одно и то же лицо.

Коба пропустил своего странного попутчика вперед метров на пятьдесят и пошел следом, внимательно фиксируя особенности его фигуры и походки, когда тот попадал в полосы света, падающего из освещенных окон. Вскоре, однако, пути их разошлись. Он еще раз перебрал в памяти все детали этой странной встречи, но ничего особенного, кроме неожиданного всплеска звериной ненависти, почему-то обращенной к нему, Кобе, в своих впечатлениях не обнаружил. Если исключить этот совершенно немотивированный эмоциональный взрыв, то оставался серенький человечек с двумя книжками в руке, юнец, идущий неуверенной от желания выглядеть суровым и степенным походкой к себе домой после каких-нибудь вполне благопристойных занятий.

Впрочем, Коба привык доверять своим первым впечатлениям, и то, что в данном случае ему сразу пришла в голову мысль о неудовлетворенном педерасте (эту «характеристику» Коба мысленно произнес на родном языке, а для обозначения соответствующего сексуального меньшинства употребил усвоенное на тифлисском Майдане тюркское слово «джалап»), все это было для него признаком безусловного присутствия в окружающем его мире какого-то сексуального неблагополучия. Однако никакого практического значения это непонятное происшествие сейчас для него не имело, и Коба, прекратив свои психологические упражнения, стал думать о предстоящем возвращении в Россию с заездом в Краков для «отчета о проделанной работе», как любили говорить «товарищи».

Неотвратимо приближающийся час отъезда из Вены заставил его принять наконец окончательное решение в одном весьма деликатном деле, волновавшем его почти весь минувший год после того, как он стал ощущать признаки пренебрежения его услугами на секретной и очень важной для него службе. У Кобы создалось впечатление, что симпатии Еремина, Виссарионова, Золотарева и других его ангелов-хранителей склоняются к более яркой и, как они считали, более влиятельной у большевиков фигуре другого «товарища» — Малиновского.

Коба решил, что пребывание в Вене позволяет ему одним махом решить две задачи: убедиться в том, что Малиновский действительно является его соратником и соперником в тайных делах, и заодно показать кому положено, что в большевистской иерархии он стоит значительно выше этого счастливчика. И он еще в начале своего пребывания в Вене сочинил адресованное ему письмо, а потом много раз возвращался к этому тексту, правил, изгоняя кавказский акцент, переписывал, и в результате у него получился такой вот интригующий текст: «Друг, привет. Я все еще в Вене и пишу всякую чепуху. Мы увидимся с тобой. Ответь, пожалуйста, на вопросы: 1. Как дела с «Правдой»? 2. Как у тебя дела во фракции? 3. Как группа? 4. Как Алексей? Ильич ничего не знает обо всем и тревожится. Галина говорит, что отдала Ильичу письмо, которое ты оставил для передачи, но Ильич, вероятно, забыл вернуть его. Я вскоре буду у Ильича и постараюсь взять его и отослать тебе. Привет Стефании и детишкам. Твой Вас».

Еще раз перечитав эти строки, Коба остался доволен: хорошо известный по ту сторону барьера «Вас» выглядел в нем ближайшим другом и доверенным лицом не менее известного там же Ильича, контролирующим все, что творилось у большевиков,

вплоть до действий социал-демократической фракции в Думе. В том, что это письмо обязательно попадет куда следует, Коба был уверен, поскольку отправил его из Вены открытой почтой, пометив для «конспирации» текст 1912 годом и бросив конверт в почтовый ящик на подходе к своему временному жилью.

Заглядывая в недалекое будущее, отметим, что хитрость Кобы сработала лишь отчасти: письмо попало к его полицейским начальникам, отсутствие каких-либо последствий для Малиновского косвенно подтверждало принадлежность этого «друга» к охранительной агентуре, но Коба продолжал себя ощущать отодвинутым на задворки политического сыска. Обида на эту несправедливость у Кобы оказалась сильнее разума, и он пишет Золотареву послание о полицейской «недобросовестности» Малиновского. Такая беспримерная наглость мелкого осведомителя, каким был Коба в глазах «опекавшего» его Золотарева, возмутила этого важного товарища министра внутренних дел. Кроме того, в неожиданной активности Кобы он почувствовал угрозу своей большой игре и потому приказал полиции арестовать и выслать Кобу подальше, чтобы не путался под ногами у серьезных людей. Виссарионов этот приказ выполнил неукоснительно, а от себя добавил строгий повседневный надзор и приостановил выплату жалования. Так уже привыкший к полицейским хлебам Коба оказался в Сибири без денег и без какой-либо возможности совершить еще один из тех «героических побегов», которые ему в недалеком прошлом организовывали коллеги из полиции. Таким был итог Кобиной «интриги», начатой им в Вене небольшим письмецом к «товарищу по оружию», спокойно опущенным им в почтовый ящик перед отъездом к Ильичу.

7

День спустя поезд увозил Кобу с венского Северного вокзала на восток. За окном промелькнули городские окраины Вены, такие неприглядные в мокром январском снегу и слякоти, но Коба без труда представил себе красоту этих предместий в весеннюю пору в буйстве красок, в цветах и зелени, и из темных глубин его души выползло Искушение, представшее на сей раз в виде смутного желания бросить все эти «революционные дела» и зажить нормально: честно заработать деньги и, купив себе маленький домик на окраине какого-нибудь прекрасного города вроде

уходящей вдаль Вены, прожить свою жизнь как положено смертному — в уважении, в кругу семьи и добрых друзей.

Коба, однако, вскоре преодолел эту непростительную слабость, и идиллические картины в его сознании были вытеснены другими видениями, в которых он, возвышаясь над «массами», как утес над равниной, указует путь всем этим человеческим стадам, с радостью рушащим пошлую красоту и мещанский уют, созданные ушедшими поколениями, топчущим портреты всех этих Францев-Иосифов и прочих императоров и высоко поднимающим Его знамя, на полотнище которого запечатлены орлиные профили «вождей пролетариата» и среди них, конечно, Его профиль. Когда же он начинал пристальнее вглядываться в эту созданную его воображением картину, все прочие профили почему-то начинали бледнеть и постепенно исчезали, и только немеркнущее золотое очертание Его Лика продолжало гореть в солнечных лучах на фоне темно-голубого Неба.

Коба улыбнулся этим приятным видениям и, удобно расположившись на мягком диване в своем купе, стал еще раз просматривать записи, приготовленные для Ильича. За этим скучным для тридцатичетырехлетнего горного орла делом он немного вздремнул, потом дремота перешла в сон, а когда, проснувшись, он взглянул на часы, то увидел, что до прибытия в Краков остается не так уж много времени. Он сложил свой нехитрый багаж и, выйдя в коридор, пристроился у окна.

Поезд огибал небольшой городок, живущий своей будничной жизнью: лошадь медленно тянула подводу, людей на улицах было немного, одни куда-то торопились, другие беседовали, встретив знакомых; из печных труб прямо к небу почти вертикально поднимался дымок, обещая хорошую погоду наступающему дню.

На пробежавшей мимо платформе какого-то полустанка, который венский скорый прошел не останавливаясь, смешно хлопотали люди. Уже имевший краковский лавочно-базарный опыт, Коба сразу же распознал в них галисийских евреев, вспомнил важную физиономию Троцкого и еще раз подивился многоликости этого народа. «Марксизм прав,— подумал он.— Евреи — это не нация, это что-то другое, и с ними еще нужно будет разобраться». Что он впоследствии и попытается сделать. А пока он порылся в своих бумагах и, отыскав уже слегка потертое письмо Ильича, рассмотрел собственноручно начертанный Стариком план пути от Краковского вокзала на улицу Любомирскую в уже знакомый ему дом. Этот недолгий путь по Кракову он должен был пройти твердым и уверенным шагом, чтобы ни у кого не возникло на его счет никаких подозрений.

8

Отнеся Адольфа к педерастам, Коба был не прав, но сексуальную озабоченность незнакомца он определил довольно точно. Правда, когда первый венский приятель Адольфа — Райнхольд Ханиш, взявший над ним шефство, позволял себе по отношению к нему некоторые не вполне приличные фамильярности, он иногда возбуждался, но сразу же усилием воли подавлял в себе это влечение, а в своих мечтах постоянно покорял ослепительных белокурых красавиц, сразу же признававших в нем своего властелина и повелителя.

Но как ни трудноразличимы были для Адольфа воображаемый и реальный миры, время от времени смолкала постоянно звучащая в его мечтаниях музыка великого гомосексуалиста Вагнера, и он оказывался в когтях грубой действительности, ожидавшей от него неприятных для его сентиментальной натуры решительных поступков. Поэтому в человеческом мире он ненавидел все и вся, и эта жгучая ненависть не оставляла его ни на минуту, иссушая душу и сердце.

В то же время нельзя было сказать, что ему не везло: постоянно находились люди, ему сочувствовавшие и помогавшие. Это были преимущественно евреи: и доктор Блох, бесплатно лечивший его мать, и Йозеф Файнгольд, который помог ему получить скудное, но крайне важное для него наследство, и помогавший ему сбывать его акварельки Йозеф Нойман, к которому он сбежал, измученный тиранической опекой Ханиша, и столяр Моргенштерн, бесплатно делавший рамочки к его рисункам, и некоторые еврейские религиозные благотворительные организации, помогавшие скромному и учтивому «гою». Обращали на него внимание и женщины, одаривая его на венских улицах многозначительными взглядами. Адольф, однако, не представлял себе, каким образом мужчины проходят этот сложный путь от нескромного взгляда до постели.

Конечно, веселая Вена предоставляла мужчинам и более легкие варианты: по вечерам на тихих улицах ярко светились окна, где за прозрачными гардинами лениво двигались полуголые девушки. На стук окно приотворялось, и после нескольких слов свет гас. Предварительно узнав порядок цен, Адольф однажды, когда ему повезло и в один день «ушли» сразу три его акварельки, сам проделал то, что ему неоднократно приходилось наблюдать издали. Все было почти так, как в его мечтах, только в постели властелина и повелителя из него не получилось, и это, в свою

очередь, вызвало новый прилив злобы, направленной на все человечество.

Это постельное поражение радикально перестроило весь воображаемый мир Адольфа: Белокурая Женщина в нем больше не жила, и все его обитатели разделились на два объекта — сам Адольф и «масса», в виде которой представало остальное человечество. Таким образом, «масса» заняла и довольно прочно место Женщины, функции же самого Адольфа при этом не изменились: он остался повелителем и властелином теперь уже «массы». Отличие Адольфа от большинства душевнобольных состояло в присущем ему постоянном стремлении материализовать свой воображаемый мир, и поскольку в опыте реализации первого варианта он потерпел неудачу, все его мысли, чувства, вся темная энергия злобы и ненависти обратились в нем на «оживление» второй модели его вселенной, так сказать, адольфоцентричной вселенной.

Теперь в своем воображаемом мире он стегал Женщину плетью, разрывая ее нежную кожу до крови, но почему-то, когда он от возбуждения начинал мастурбировать, картина незаметно и независимо от его воли менялась, и плеть оказывалась в руках Женщины, а ее сильные удары «с оттяжкой» доставляли ему неизъяснимое наслаждение. Потом он многие годы искал эту свою сладкую мучительницу возле ресторанов и пивнушек Мюнхена так активно, что получил у местных котов титул «короля шлюшек», и, наконец, будучи уже всемогущим фюрером, нашел свою «богиню» в образе ныне забытой звезды экрана Ренаты Мюллер, так изящно отхлеставшей его кнутом, что оргазм «сверхчеловека» наступил уже на второй минуте мастурбации, еще до того, как она, по его просьбе, на него помочилась.

Жизнь в мире власти, пусть еще нереализованном, показалась Адольфу даже более сладкой, чем покорение Женщины, и, представая в своем воображении перед волнующейся, уходящей за горизонт нарядной «массой», с восторгом следящей за каждым его движением, готовой безоговорочно повиноваться ему и по мановению его руки растерзать некую другую жалкую и дурно пахнущую «массу» (ее не видно, но он знает, что она где-то рядом), он почти всегда ощущал половое возбуждение, а после затяжных сеансов своего мысленного общения с «массой» даже переживал оргазм, приходя потом в себя от неприятного прикосновения холодных мокрых штанов к еще разгоряченному телу. Некоторое время его смущало то обстоятельство, что внешние признаки охватывающего его острого желания трахнуть свою любимую «массу» могут быть замечены людьми, особенно в первых рядах, стремящихся

лизнуть его сапоги, но вскоре выход был им найден: он стал появляться перед «массой», закрывая свои детородные органы кистями рук, сцепленными одним-двумя пальцами в единый щиток либо просто наложенными друг на друга. При этом свободными пальцами Адольф слегка массировал яички и член и вскоре заметил, что эти его собственные прикосновения делают его общение с «массой» более энергичным и действенным. Кроме того, такая позиция позволяла в случае семяизвержения направлять струю так, чтобы мокрота потом не создавала дискомфорта. Конечно, если бы кто-нибудь, оказавшись в курсе сексуально-политических забав будущего вождя, сказал ему, что он всего лишь примитивный онанист, Адольф бы просто не понял, о чем речь, настолько высоким и безупречным было его положение в создаваемой им вселенной.

Оставалась лишь самая малость — реализовать этот его прекрасный новый воображаемый мир. Адольф догадывался, что обожающая его «масса» — это не венская проститутка, дверь которой открывается без скрипа и за небольшую мзду. Прежде всего нужно было отыскать эту дверь, а уж потом попытаться в нее проникнуть. И Адольф начал свои поиски. Он стал посещать заседания палаты депутатов, присматривая себе стартовую площадку. Но в парламенте не было «массы», там были личности, хоть и довольно мелкие. Впрочем, именно в стенах этой говорильни, где даже антисемиты после смерти их вождя Люгера утратили свой пыл, Адольф нутром ощутил, что отношения с евреями и к евреям могут стать государственной политикой и что евреи, если их не остановить, проникнут куда угодно, включая немецкий парламент.

Более боевой антисемитский дух царил в рабочих и нерабочих «кружках» и группах, сборища которых он начал посещать одновременно с заседаниями палаты депутатов. В «кружках» каждый мог говорить все, что угодно, но Адольф поначалу молчал, вживаясь в новую в его реальной жизни атмосферу и в особенности жизни на публике. Его интересовало, что объединяет этих людей, заставляя их тратить свой досуг на собрания и встречи, не приносящие им никаких земных благ. Вскоре он понял, что многие люди обладают избытком энергии, не востребованной их пресным бытом, скучным и часто бесплодным трудом, будничной рутиной. В их объединениях не было единомыслия, и лишь в одном они были единодушны — в своей ненависти к евреям. Это был еще один важный довод в пользу того, что воинственный антисемитизм относится к мощным факторам, способным спло-

тить всех немцев вокруг «вождя», знающего путь к избавлению от еврейского засилья.

В то же время Адольф понимал, что «вождь» народа не должен ориентироваться только на темные инстинкты «массы». Нужна была также светлая, благородная идея. И однажды ему показалось, что он ее нашел: ему в руки попался журнальчик со странным названием — «Библиотека защитника прав белокурого человека». Его издавал и бесплатно распространял как раз в пятнадцатом городском районе, где жил Адольф, некий Йорг Ланц фон Либенфельс, бывший аристократ и бывший католический монах. Мысль о возможности племенного отбора людей поразила Адольфа. Вот то поистине светлое будущее, которое можно уверенно обещать «массе»,— превращение ее в огромное и могущественное племя красивых и вечно молодых белокурых людей, огнем и мечом вытесняющих из дряблой Европы и даже со всей планеты не только евреев и цветных, но и все прочие человеческие отбросы.

Адольф часами просиживал перед зеркалом в своей крохотной комнатушке, и временами ему казалось, что его темные волосы светлеют. Он был даже готов поседеть, чтобы полноправно влиться в белокурое сообщество. Посетил он и автора прельстившей его идеи. Впоследствии Ланц вспоминал, что молодой, бледный и скромный Адольф был очень внимателен к его пояснениям, стараясь не пропустить ни единого слова и, конечно, не замечая, что временами его «учитель» просто смеялся над ним, над собой и над своими собственными «идеями». Тогда еще над всем этим можно было смеяться.

9

Воображаемый мир Адольфа стал от всех этих новых веяний намного интереснее, и он уходил в него в любой момент, когда позволяли обстоятельства, когда можно было отвлечься от житейской суеты. Так было и в тот вечер, когда он увидел на улице непонятную личность, нагло заглядывающую в освещенные окна. До этого момента Адольф никогда не видел «лиц кавказской национальности», и все черноволосые, темноволосые и длинноносые люди были в его представлении евреями или цыганами. Не так давно покинувший Россию Коба был в каком-то длинном, не по-здешнему теплом и не по-здешнему скроенном пальто. Быстрорастущая густая и жесткая щетина затемнила его щеки и

подбородок, а отделившиеся пряди длинных темных волос свисали из-под полей темной шляпы, как пейсы.

Увидев перед собой такую картину, Адольф, не отличавшийся острым зрением, как-то сразу «почувствовал» присутствие еврея: «фигура в длинном кафтане и с пейсами» — как вспоминал он впоследствии. А тогда он подумал: «Неужели ЭТО может быть немцем?!»

Когда же он увидел, вернее, ощутил, отблески звериной ненависти в пожелтевших глазах Кобы, он понял, что перед ним Враг, грязный еврейский низколобый Враг его любимой белокурой «массы», и этот Враг, судя по силе его ненависти, горящей в глазах и концентрирующейся в каком-то остром и противном запахе, активен и опасен.

С этого момента все в сознании Адольфа стало на свои места. Он понял, что все евреи, в том числе и те, кто втерся к нему, Адольфу, в доверие, кто лицемерно ему помогает и вообще благотворительствует, а также его любимые певцы и актеры, являются членами единой тайной организации инспираторов и подстрекателей, навязывающих «массе» свою волю, и что здесь, в Вене, как он потом напишет в своем тюремном откровении под названием «Моя борьба», они уже зашли слишком далеко и «хладнокровно, бесстыдно, расчетливо руководят проституцией, театром, газетами и журналами».

После этого своего открытия он несколько дней был в шоке, поскольку подтверждения добытой им истины шли сплошным потоком. Ведь даже его постельная неудача была несомненно спланирована евреями, по указаниям которых подконтрольные им опытные проститутки пытаются навязать молодым белокурым вождям, а иным себя Адольф уже и не представлял, неуверенность и ощущение собственной неполноценности.

Подтверждение своим открытиям он нашел и в книге Хьюстона Чемберлена «Основы XIX века». Познакомившись с содержанием этого опуса, он, уже поглощенный оккультическими расчетами «чисел судьбы», увидел великое предзнаменование в том, что встретил «еврея в кафтане» в виде Кобы в тот момент, когда нес эти два заветных томика, чтобы в тиши своего одинокого вечера погрузиться в мистические закономерности истории человечества, закономерности вечной борьбы созидающей арийской расы с вырождающейся разрушительной еврейской расой, борьбы, ждущей своего Героя, конечно, в его, Адольфа, лице, способного освободить мир от этого гнусного племени.

Необходимо было начинать борьбу, но здесь, в кишевшей евреями Вене, силы сторон были явно неравными, и Адольф начинает

склоняться к мысли о том, что решительные действия он сможет начать только где-нибудь в сердце истинной Германии, где белокурое большинство еще не опутали еврейские сети.

Обдумывание прояснившейся ситуации заняло у Адольфа еще некоторое время, и в двадцатых числах мая 1913 года, через четыре месяца после судьбоносной встречи с «пейсатым евреем» Кобой, он отбыл в Мюнхен. С момента знакомства с изданным там сочинением Чемберлена этот город манил его. Глядя из окна вагона на перрон, где, как и везде в Вене, кишели евреи, собиравшиеся переехать с Северо-Западного вокзала на Южный, чтобы делать свой гешефт и плести свои интриги в западнославянских провинциях империи Габсбургов, Адольф вернулся в свои грезы, в свой воображаемый мир, в котором он пребывал: и сейчас это был тот же вокзал в такой же яркий солнечный день, но всю привокзальную площадь и ведущие к ней улицы заполняла его любимая белокурая «масса», и эти нарядные магистрали красавицы Вены были полностью освобождены от еврейско-цыганско-мадьярско-славянского сброда. Видения эти были так прекрасны, что Адольф даже не заметил, как состав тронулся и за окном замелькали утопающие в зелени венские предместья. Бедный доктор Зигмунд Фрейд, проводивший этот день у своего приятеля в одном из домиков, по которым скользил безразличный взгляд Адольфа, даже не догадывался, что не видимый ему поезд, дававший о себе знать приглушенным перестуком колес, увозил его потенциального пациента, являвшего собой самую убедительную, можно сказать, классическую иллюстрацию к большинству его сенсационных открытий, объединенных им в понятие «психоанализ», и, возможно, только он, еврей и блестящий венец в одном лице, смог бы объяснить, почему перед невидящим взором Адольфа, скользившим по вечной красоте Природы, вдруг как наваждение возникла фигура Кобы «в длинном кафтане и с пейсами», и он чуть не задохнулся от резкой вспышки злобы и ненависти. Сидевший напротив него в тесном купе вагона человек, в котором даже такой специалист по национальным вопросам, каким считал себя Адольф, не смог бы ни по «запаху», ни по «расе» распознать еврея, с интересом наблюдал поверх газеты и поверх очков за изменениями физиономии Адольфа, сопутствовавшими обуреваемым его чувствам. В этих мимолетных гримасах было что-то очень знакомое ему — известному адвокату по уголовным делам. «Безусловно — потенциальный убийца и, возможно, мой клиент в ближайшем будущем» — таким был вывод этого специалиста, любителя предсказаний и прогнозов. Как мы

теперь знаем, он оказался прав лишь наполовину — в первой части своего пророчества, что же касается всего остального, то как раз ему самому и ему подобным предстояло стать «клиентами» Адольфа, а не наоборот.

Но до этого момента оставалось еще ровно двадцать лет, и можно было пожить.

Впрочем, слова «можно было пожить» относятся только к людям Запада, поскольку именно им предстояло стать «клиентами» бесноватого Адольфа. Для тех же, кому Судьбой было определено родиться и жить восточнее Вислы, тринадцатый год минувшего века — год сближения путей Кобы и Адольфа — стал последним мирным годом в буквальном значении этого слова. Дальше им предстояло прямо из мировой войны шагнуть в революцию и в другую войну — Гражданскую,— в голод и страдания, и только тем, кто выжил в этом «чистилище», стать «клиентами» другого действующего лица этой главы.

В заключение этой главы, возвращаясь к своим извинениям за мое обращение в ней к элементам фантастики, осмеливаюсь обратить внимание читателя на то, что использование фантастических версий в документальных повествованиях есть истинно сталинская историко-литературная традиция, использованная во всех без исключения исторических и литературных сочинениях, касающихся летописания большевизма в России. В целях краткости я еще раз приведу в пример замечательное произведение эпохи социалистического реализма — книгу «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», написанную, как уже говорилось, нашим вождем под псевдонимом группы реально существовавших товарищей Митина, Александрова, Поспелова и проч., и проч. Эта книга, можно сказать, пронизана фантастическими версиями. Одна из них — описание мудрого сталинского руководства революционной работой в 1917 году и его личного участия в уличных боях, в то время когда его там «даже не стояло». Поэтому в деле обращения к фантастике я прошу считать меня верным последователем товарища Сталина.

ГЛАВА X.
Эпизод пятый. Вне игры

И вот сижу я в Туруханском крае,
где конвоиры, словно псы, грубы,
я это всё, конечно, понимаю,
как обострение классовой борьбы.
Юз Алешковский. Товарищ Сталин

Не помните ли фамилию Кобы?
В. И. Ленин — Г. Е. Зиновьеву

Большая просьба: узнайте (от Степко, Михи и т. п.) фамилию «Кобы» (Иосиф Дж.? Мы забыли)
В. И. Ленин — В. Е. Карпинскому. Ноябрь 1915 года

Всё начиналось, как в пошлой оперетке: 24 февраля 1913 года шел себе в Петербурге в помещении Калашниковской биржи концерт-маскарад, проводимый с благотворительной целью. Как положено, ровно в 12 часов ночи в этот маскарад явились чины охранительного ведомства и заявили наблюдавшему за порядком полицейскому, что под одной из масок скрывается лицо, подлежащее обыску и аресту. Врага государства нашли в буфетной комнате за одним столиком с членами Государственной Думы и пригласили следовать за полицейским чином. Ничего предосудительного обыск этого лица не выявил, тем не менее оно было все же арестовано. Назвать себя при аресте указанное лицо отказалось. Спустя пару дней в газете «Луч» появилась статья об этом происшествии, озаглавленная «Арест во время маскарада», в которой фамилия арестованного не указывалась, а в Краков Ильичу пошло письмо с извещением, что был схвачен охранкой «наш милый дюша-грузинчик». При этом информатор Старика сетовал: «Черти его принесли или какой дурак привел на свой вечер. Это было прямо нахальство идти туда».

В действительности его туда привел не черт, а верный друг «дюши-грузинчика» депутат Государственной Думы Роман Малиновский. О своем госте он одновременно известил и охранительное ведомство, где этот пламенный большевик состоял

весьма дорогостоящим агентом, так что заниматься установлением личности арестованного никакой надобности у полиции не было.

Далее стали происходить из ряда вон выходящие для товарища Кобы события: во-первых, начальник Особого отдела Департамента полиции наш и товарища Кобы старый знакомый — полковник А. М. Еремин — вместо обычных для него в случаях ареста Джугашвили ухищрений и волокиты, молниеносно представил «справку» о подвигах арестованного директору Департамента полиции С. П. Белецкому, и, во-вторых, когда начальник Петербургского Губернского жандармского управления генерал-майор Митрофан Яковлевич Клыков, помня о том, как ему не удалось два года назад спровадить товарища Кобу в Якутию, подписал на сей раз постановление, предлагавшее вернуть Джугашвили в весьма обжитую Томскую губернию — в Нарымский край, то Особое совещание, всегда смягчавшее участь нашего абрека, на сей раз направило-таки его куда Макар телят не гонял — в приполярную пустыню — в Туруханский край, в низовья Енисея.

Что же произошло? Можно, например, предложить такую версию: в охранительных органах Империи поняли, что они несколько преувеличили политическую масштабность фигуры товарища Кобы и вычеркнули его из перспективных кандидатов на сотрудничество в деле спасения Дома Романовых, лишив его своей опеки и разнообразного содействия. А может быть, причиной были изменения в поведении самого Кобы: «свой среди чужих» стал отлынивать от работы, реже «выходить на связь», чем вызвал подозрения у А. М. Еремина, и эта версия вполне соответствует содержанию его легендарного письма. Имеет право на существование и любая другая версия по усмотрению читателей.

А тогда, в конце июня 1913 года, товарищ Коба из предвариловки был переведен в пересыльную тюрьму и почти сразу же этапирован в Красноярск — центральный город Енисейской губернии, а оттуда при первой же оказии — в Туруханский край, а точнее — в село Монастырское, где тогда находилась администрация этого края. В качестве главного полицая там пребывал земляк товарища Кобы — пристав Иван Игнатьевич Кибиров из осетин, переведенный сюда из Баку то ли в порядке наказания за какие-нибудь административные провинности, то ли под обещания дальнейшего продвижения по службе. Первое время администрация Туруханского края никак не могла определиться с местом содержания в ссылке товарища Кобы. Сначала он был

поселен в небольшой деревушке («станке») с подходящим к этому случаю названием Мироедиха, находившейся на 25 верст южнее Монастырского. Затем через пару недель товарищ Коба переселился еще южнее — в деревню Костино. Злые языки утверждали, что в Костино он бежал от гнева товарищей по оружию, поскольку, находясь в Мироедихе, прикарманил библиотечку утонувшего в Енисее коллеги Дубровинского, изъяв все книги из общего пользования.

В этой ссылке с самого ее начала товарищ Коба почему-то стал ощущать муки одиночества. Он затевает обширную (для забытых Богом, большую часть года изолированных от мира туруханских деревень) переписку. Среди его адресатов и местное полицейское начальство, у которого он требует выплаты причитающегося ему пособия, сохранности и своевременной доставки почты, и дорогой друг Гришка Зиновьев, связь с которым ему обеспечивают киевлянки Анна Абрамовна Розенкранц с мужем Давидом Шмулевичем и Эстер-Хая Шмулевна Финкельштейн с мужем Ициком, сочувствовавшие революции, но вполне благонадежные по оценкам глупых киевских жандармов (в будущих своих охранительных органах товарищ Коба такое бордельеро никогда не допустит). Сначала эпистолы вождя носили бравурный характер, в них постоянно слышалось: «Се гряду скоро», и лишь между делом он просил денег на побег: «Надо поправляться. Пришлите денег. Если моя помощь нужна, напишите, приеду немедля» (из письма Зиновьеву в Краков). Потом боевая музыка в текстах его писем стихла, и слова вождя народов обрели на некоторое время человеческое звучание:

10 ноября 1913 г.: «Как-то совестно писать, но что поделаешь — нужда заставляет. У меня нет ни гроша. И все припасы вышли. Были какие-то деньги, да ушли... Нельзя ли будет растормошить знакомых... и раздобыть рублей 20—30? А то и больше? Это было бы прямо спасение, и чем скорее, тем лучше.... Можно в случае необходимости растормошить Соколова, и тогда могут найтись денежки более 30 руб. А это было бы праздником для меня» (Т. А. Словатинской).

20 ноября 1913 г.: «Милая. Нужда моя растет по часам, я в отчаянном положении, в добавок еще заболел, какой-то подозрительный кашель начался. Необходимо молока, но... деньги, денег нет. Милая, если добудете денежки, шлите немедля телеграммой. Нет мочи ждать больше...» (Т. А. Словатинской).

Адресатом товарища Кобы в данном случае была одна из околореволюционных дам — жена инженера Абрама Лурье.

Гостеприимством их дома наш вождь охотно пользовался, пребывая в подпольном Питере. Остатки этой семьи он потом сварит в общем котле тридцатых годов.

В связи с тем, что нам в этом романе довольно часто приходится вглядываться в смертельную перспективу и эсхатологию «дорогих друзей» и благодетелей товарища Кобы, вспоминается известная суфийская притча о скорпионе:

Скорпион, боявшийся воды, остановился перед ручьем. А ему позарез было необходимо переправиться на другой берег, и он обратился за помощью к сидевшей у ручья лягушке.

— Ты же ужалишь меня, и мы утонем,— сказала лягушка.

— Что ты! Я же не сумасшедший и сам не хочу тонуть!

Лягушка согласилась, скорпион — к ней на спину, и они поплыли, а посередине ручья скорпион ее ужалил и они утонули.

И тут в притчу вступает суфий-рассказчик, который говорит слушателям:

— Не думайте, что скорпион хотел ужалить лягушку, ведь он знал, что в этом случае они погибнут, но у него натура такая.

Как и все суфийские притчи, эта притча — обучающая. Она учить не забывать о том, что не всякая человеческая *натура* отвечает общепринятой морали и нравственности, почитаемым нормальными людьми. *Нормальный* настоящий кавказец, например, выше собственной жизни чтит законы гостеприимства и память о руке, поданной ему в трудный момент. Где-то в глубине души чтил их, вероятно, и товарищ Коба, но его *натура* далеко не всегда позволяла ему следовать этим священным принципам.

Я не могу по этническим причинам отнести себя к «нормальным кавказцам», но, будучи по всему комплексу своих взглядов и нравственных устоев человеком восточным, законы гостеприимства я чту не менее свято, чем упомянутая категория людей, и отношение любого человека к этим законам полностью определяет мое отношение к этому человеку. В качестве примера расскажу, как менялось мое отношение к Виктору Астафьеву. После первого знакомства с его текстами я сразу же ощутил в них присутствие большого таланта, а «Печальный детектив» стал для меня убедительным подтверждением правильности моих первых оценок. Но затем последовало нечто вроде рассказа или дорожного очерка под названием, кажется, «Ловля пескарей в Грузии», опубликованное в одной из «крепостей совкового патриотизма» на заре горбачевской перестройки. Это произведение произвело на меня неизгладимое впечатление не столько своим беспардонным хамством, сколько абсолютным презрением к самым элементарным

законам гостеприимства. Из этого опуса следовало (что потом подтвердили мои друзья-грузины), что сей инженер человеческих душ как следует нажрался в гостеприимном грузинском доме, а потом публично обосрал, как тогда говорили, «на весь Союз», и радушно принимавших его хозяев, и всю нацию, к которой эти хозяева принадлежали.

С этого момента писатель Виктор Астафьев как человеческий индивидуум перестал для меня существовать. Последующие известия о нем — его обострившийся антисемитизм, переходящий в человеконенавистничество, и прочие художества лишь подтверждали очевидный для меня факт, что именно в «Пескарях» проявились «лучшие» качества его души, поскольку я знал, что на разных этапах своего, прямо скажем, отнюдь не легкого жизненного пути он не отвергал помощь евреев. Чтобы закончить эти свои минивоспоминания об относительно недавнем прошлом, должен сказать, что меня тогда очень удивила реакция грузинских литераторов на астафьевский пасквиль: тамошние литературные чиновники и авторитеты того времени вместо того, чтобы публично плюнуть в морду хаму, предприняли какой-то робкий демарш, и лишь один нечиновный тбилисский старец написал «Длинное письмо Виктору Астафьеву», основной мотив которого заключался в доказательстве формулы «грузины — тоже люди». Свое «Длинное письмо» старец разослал в разные московские редакции и получил за это словесную оплеуху от одной из боевитых окололитературных шлюх перестроечного времени. После этого он в 1989 году опубликовал свое «письмо» — действительно, достаточно объемное сочинение (почти 300 страниц!) — в Грузии на русском языке тиражом 100 000 экземпляров.

Время показало, что это был выстрел вхолостую, так как сегодня, 20 лет спустя, в древней и вечно новой Грузии не найдется такого количества читателей русскоязычных книг, а людей, слышавших о том, что когда-то существовал писатель Виктор Астафьев, там можно пересчитать по пальцам, если только таковые знатоки вообще имеются.

Впрочем, к судьбе Татьяны Александровны Словатинской я хотел бы вернуться по личным соображениям. Я в своей жизни следовал суфийскому завету: «одиночество в толпе, странствие в своем мире, внешне — среди людей, внутренне со Всевышним» (Баха-ад-Дин Накшбанд). Я был смотрящим иных сил, чье оружие — ожидание и терпение. И я часто был рядом с теми, кто меня не знал и не видел, потому что я разминулся с ними во времени. Через мою жизнь, как и через жизнь Словатинской, тоже прошел

Дом на набережной. В этом доме для меня соединилось смешное и грустное. Здесь в квартире 188 на девятом этаже я впервые в своей жизни принял ванну с горячей водой, текущей из крана, а не разогретой в кастрюлях, и вдова вовремя умершего «члена КПСС с 1892 года», охранителя прав в стране, где о правах никто ничего не знал, заместителя председателя Верховного суда СССР, члена всяких циков и вциков Петра Красикова — Наталья Федоровна — учила меня, как надо мыть после себя ванну. Ее уроки помню до сих пор. В этой же квартире № 188 на девятом этаже я пережил один из счастливых моментов моего бытия — первую ночь с любимой женщиной, умершей сорок лет спустя на моих руках, но я хорошо знал, что не все и не всегда были счастливы в этом доме, и среди тех, для кого эта серая громада стала памятником горя, была Словатинская.

Когда-то, очень давно, в упомянутой мною квартире № 188 один из временных хозяев некоторой части этой большой квартиры Евгений Викторович Тарле принимал молодую женщину, мечтавшую о карьере историка. Тарле всегда был обращен к людям, причастным к историческим делам, и поэтому его гостья, прошедшая войну от звонка до звонка, Герой Советского Союза, знаменитый снайпер Людмила Павличенко была ему интересна. Когда аудиенция завершилась, случайно присутствовавшая при этой встрече друг и помощник Евгения Викторовича — Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова сказала:

— Интересный человек. Но все-таки я считаю, что женщина не должна убивать. Она должна давать жизнь, а не отбирать ее.

Белозерская не была комнатным растением. В Первую мировую она работала в военных госпиталях и на ее руках умирали люди. Так что Смерть она знала не понаслышке. Тарле промолчал.

Словатинская родила и вырастила двоих детей, но главным делом своей жизни считала «революционную работу», ради которой бросила консерваторию и терпела лишения, вместо того чтобы погрузиться в мир семьи и музыки, как ей посоветовала бы добрая Любовь Евгеньевна. Словатинская стала тем самым «новым человеком», о необходимости которого так долго говорили большевики. Сначала ею по молодости лет овладело то самое нетерпение, описанное ее внуком Юрием Трифоновым в его книге о народовольцах, потом были мечты о победе, о том, как она вместе с друзьями и, конечно, товарищем Кобой под фанфары вступает в прекрасный новый мир. Потом осталось упрямство, нежелание признать прискорбный факт гибели светлых мечтаний. Юрий

Трифонов так говорил о революционных воспоминаниях своей бабушки-подпольщицы: «Я перечитываю эти строки со смешанным чувством изумления и горечи. Т. А. Словатинская писала воспоминания незадолго до смерти, в 1957 году. О Сталине уже было много сказано на XX съезде. И Словатинская могла беспрепятственно окинуть взором всю свою жизнь и жизнь своей семьи, разрушенной Сталиным: зять ее погиб (донской казак В. А. Трифонов, известный военачальник на Гражданской войне, потом крупный советский чиновник, живущий в Доме на набережной, уничтожен вождем в 1938 году.— *Л. Я.*), сын Павел был сослан, восемь лет отбыла в ссылке и дочь — та девочка Женя (мать Ю. Трифонова.— *Л. Я.*), которая когда-то встречала Арона и Василия в квартире на 16 линии (Арон — А. А. Сольц, Василий — один из псевдонимов Сталина, 16-я линия Васильевского острова в Петрограде, дом 35, квартира 21 — в 1912—1917 годах Т. А. Словатинская содержала явочную квартиру большевиков, и сюда было адресовано письмо товарища Кобы, оголодавшего в туруханской ссылке.— *Л. Я.*). Но и отзвука этой боли нельзя найти в воспоминаниях Т. А. Словатинской. Что ж это: непонимание истории, слепая вера или полувековая привычка к конспирации, заставлявшая конспирировать самую страшную боль? Это загадка, стоящая многих загадок. Когда-нибудь ей найдут решение и всё, вероятно, окажется очень просто».

Я нашел, друзья, нашел.

Бедный, бедный советский инженер человеческих душ Юрий Валентинович Трифонов! Он немного не дожил до последнего акта создания «нового человека», завершившегося андроповскими облавами на «простых советских людей» на улицах и в общественных местах, когда ребятушки-вохровцы пытались загнать стихию в барак. И хотя приближение совка уже ощущалось в его замечательных повестях «Предварительные итоги» и «Другая жизнь», окончательное осознание существования этого уникального человеческого типа, выкристаллизовавшегося из необъятной людской массы, пришло в мир несколько позднее, когда Юрия Трифонова в нем уже не было, а если бы был, то немедля получил бы ответ на свою загадку: русская женщина Словатинская, как и еврейка Жемчужина, и еще миллионы сущих были совками, считавшими, что в «великой эпохе», в которой они жили, всё было верно, всё было правильно.

Я тоже прочитал в доступных мне пределах воспоминания Т. А. Словатинской, взглянул на молодые портреты этой красивой и действительно милой (здесь товарищ Коба не ошибался!)

женщины. Всё в ее жизни могло быть иначе: закончила бы консерваторию и написала бы свою музыку к словам:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Может быть, и пошло, но красиво, пошлость пройдет, а Красота останется, потому что автор этих стихотворных строк знал, что «жизнь человека одного — дороже и прекрасней мира». Если бы Словатинская это понимала, то в споре Качалова с ее «пажем» Ароном Сольцем, заявившим, что «большевики — гуманисты, но если надо *убрать с дороги* свирепого врага, его убирают, борьба есть борьба», она бы приняла сторону великого актера, говорившего «какие-то хорошие слова о любви к человеку».

Когда-то Лев Николаевич Толстой, обсуждая с кем-то перспективы социализма, сказал, что справедливое распределение благ — дело хорошее, но *кто* поручится за честность распределяющих? Мы, пережившие правление Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и приступившего, не приходя в сознание, к управлению советской страной Константина Устиновича Черненко, а также душки Горбачева с его перестройкой, оказавшейся на деле доломайкой (паноптикум, являющийся достойным продолжением созданной Щедриным галереи глуповских градоначальников), знаем, что вопрос о справедливом распределении стал одним из главных камней преткновения на пути советского народа к светлому будущему. Еще при Хрущеве, во времена первых шагов в освоении космоса, например, появилась такая частушка, отвечающая на некрасовский вопрос — кому живется весело, вольготно на Руси:

Буфетчице Нюре,
Гагарину Юре,
Герману Титову,
Никите Хрущеву,
Леониду Брежневу,
остальным — по-прежнему.

Народ-творец, как видим, на первое место ставил буфетчицу Нюру, благосостояние которой зависело в меньшей степени, чем у вип-персон, от «распределения по труду».

Проблема «убирания» свирепых врагов», озвученная благородным Сольцем, еще более сложна, чем дележ красной и черной икры, поскольку речь шла о «дележе» человеческих жизней. Здесь возникал все тот же толстовский вопрос: *кто* поручится за честность определяющего, кто «свирепый враг», а кто свирепый друг, да еще в стране, где никогда не существовало не только правосознания, но и, как говорил Анатолий Федорович Кони, даже правоощущения. Геринг, как известно, в почти аналогичной ситуации сказал свою известную крылатую фразу: «Я сам буду решать, кто в люфтваффе еврей, а кто нет». Такие геринги есть в любой стране, но только там, где вообще нет и законов, они олицетворяют закон в отношении «свирепых врагов», в числе которых оказались и люди, дорогие наивной совковой мемуаристке. Сама Словатинская при этом уцелела, вернулись из ГУЛАГа ее дети, но мне почему-то кажется, что на долю ей и другим пережившим товарища Кобу ветеранам большевистской революции, как уже прежде говорилось о судьбе Михи Цхакая, выпало более тяжкое наказание, чем пуля в затылок в подвалах Лубянки — они воочию увидели, что всё было напрасно и жизнь прошла без пользы, как говорил Яков Иванов в гениальном чеховском рассказе, и что духовная преемственность, цепь которой они хотели создать, не случилась, и остался лишь звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Впрочем, как известно, в пьесе Чехова есть пояснение этому звуку: «Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко».

Возможно, и не очень далеко и, возможно, что бадья была наполнена телами еще живых «свирепых врагов», включая детей, которым было обещано счастливое детство...

А теперь продолжим знакомство с эпистолярным попрошайничеством бравого большевика — товарища Кобы.

Конец ноября 1913 г.: «Здравствуй, друг. Неловко как-то писать, но приходится. Кажется, никогда не переживал такого ужасного положения. Деньги все вышли, начался какой-то подозрительный кашель в связи с усилившимися морозами (37 градусов холода), общее состояние болезненное, нет запасов ни хлеба, ни сахару, ни мяса, ни керосина.... А без запасов здесь все дорого: хлеб ржаной 4 коп. фунт, керосин 15 коп., мясо 18 коп., сахар 25 коп. Нужно молоко, нужны дрова, но... деньги, нет денег, друг. Я не знаю, как проведу зиму в таком состоянии...» (Р. В. Малиновскому).

«У меня нет богатых родственников или знакомых, мне положительно не к кому обратиться. Моя просьба состоит в том, что если у социал-демократической фракции до сих пор остается «Фонд репрессированных», пусть она, фракция, или лучше бюро фракции выдаст мне помощь хотя бы в рублей 60. Передай мою просьбу Чхеидзе и скажи, что и его также прошу принять близко к сердцу мою просьбу, прошу его не только как земляка, но и главным образом как председателя фракции... Дело это надо устроить сегодня же, и деньги переслать мне по телеграфу, потому что ждать дальше — значит голодать, а я и так истощен и болен» (Р. В. Малиновскому).

7 декабря 1913 г.: «У меня начался безобразный кашель (в связи с морозами). Денег ни черта. Долги. В кредит отказывают. Скверно» (Г. Е. Зиновьеву).

9 декабря 1913 г.: «...деньги нужны до безобразия. Все бы ничего, если бы не болезнь, но эта проклятая болезнь, требующая ухода (т. е. денег), выводит из равновесия и терпения» (Г. Е. Зиновьеву).

В декабре дороги в Туруханском крае отвердели, почта заработала, деньги кое-какие пришли, и в письмах товарища Кобы с января 1914 года денежная тема отходит на второй план, уступая надлежащее место революционным заботам. Оторванный от живого дела, он нажимает на всякого рода статейки. Статейки его печатают, но «обратной связи» и своей необходимости он не чувствует, и это его беспокоит в значительно большей степени, чем «подозрительный кашель». Интенсивность его переписки усиливается, а общение с почтой и дальнейшее получение денег он осуществляет через доброго земляка — пристава Кибирова, которому выдает собственноручную доверенность. Поэтому вряд ли пристав Кибиров относился к «конвоирам, грубым, словно псы», о которых сообщал простой советский заключенный.

Вся переписка товарища Кобы и других товарищей, естественно, перлюстрировалась, и ее внимательные читатели уловили в ней мотивы намечавшегося побега. Сопоставив эти свои впечатления с увеличением приходящего с воли денежного потока, они еще более укрепились в своих подозрениях, и в результате такого анализа ситуации в охранительном ведомстве было решено двух наиболее подозрительных деятелей — И. В. Джугашвили и Я. М. Свердлова — отделить от многочисленных прочих ссыльных и отправить их от греха подальше за Полярный круг в станок Курейка, приставив к каждому из них по личному надзирателю.

Сказано — сделано, и 11 марта 1914 г. оба ответственных товарища с соответствующим эскортом двинулись в путь.

В Курейке было всего восемь обжитых домов и одна заброшенная изба. В одном из обжитых домов в одной комнате поселились товарищ Коба и товарищ Андрей (Я. М. Свердлов), и именно в Курейке товарищ Коба ощутил абсолютную бессмысленность своего никому не нужного бытия. Подводя итоги первой недели совместного проживания с товарищем Кобой, будущий первый президент Страны Советов писал 22 марта 1914 г.: «Со мною грузин, старый знакомый... Парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни». Вскоре этот большой индивидуализм, заключавшийся в том, что товарищ Коба целый день валялся на кровати, громко портил воздух, не мыл свою тарелку, давая ее вылизать собакам, и не выносил за собой парашу, так надоел строгому к себе и другим Якову Михайловичу, что они разошлись.

Товарищ Коба некоторое время помыкался по разным хатам и в конце концов осел в доме Перепрыгиных, где без отца и матери жили семь сирот: братья Иона, Дмитрий, Александр, Иван, Егор и две сестры — Наталья и Лидия. От нечего делать будущий большой друг советских детей, обеспечивший им счастливое детство, решил поработать над демографическими проблемами Сибири в качестве производителя. Для этой благородной цели он избрал Лидию Платоновну Перепрыгину, которой в тот момент было то ли тринадцать, то ли четырнадцать лет. Л. П. Перепрыгина — это та самая «гражданка Перелыгина» из донесения Серова Хрущеву, и такая примитивная ошибка (не единственная в донесении Председателя КГБ) свидетельствует о том, что его ведомство в те годы составляло свои документы левой ногой, еще не оклемалось после погрома, устроенного им нашим дорогим Никитой Сергеичем.

Бурный роман вождя с сибирской малолеткой стал для товарища Кобы причиной многих неприятностей, осложнивших его жизнь в Курейке. Хотя там и мело, мело по всей земле во все пределы, скрыть происходящее в доме Перепрыгиных, даже если там не всегда свеча горела, в селении о восьми избах не было никакой возможности, и курейкинское общество с замиранием сердца следило за развитием событий. Реагировали же все по-разному. Товарищ Андрей-Свердлов с еврейской брезгливостью (впрочем, свойственной всем нормальным людям, независимо от из национальности и вероисповедания) просто прекратил с товарищем Кобой какие бы то ни было отношения и перестал его замечать, написав по этому поводу на волю: «Товарищ, с которым мы были там, оказался в

личном отношении таким, что мы не разговаривали и не виделись». Личный страж товарища Кобы — жандарм Лалетин — сначала не поверил своим ушам и лично пожелал разобраться в этом деле.

В избу Перепрыгиных он попал в самый неподходящий момент, когда там пылал жар соблазна, вздымая, как ангел, два крыла крестообразно. Опаленный этим жаром жандарм оголил шашку и намеревался отрубить товарищу Кобе его главнейший орган. Но жандарм не учел вспышки ярости и отваги, возникающей у высших млекопитающих, когда прерывается такой сладостный процесс, и курейцы могли весной 1914 года однажды наблюдать, как товарищ Коба в исподнем загонял махавшего шашкой перед его носом жандарма в Енисей. Когда рассказы о сексуальном конфликте товарища Кобы с жандармом дошли до внимательного к нуждам товарища Кобы пристава Кибирова, тот распорядился заменить ему стража («Как бы не нажить греха»,— сказал добрый пристав), и в Курейку в мае 1914 года вместо жандарма Лалетина прибыл жандарм Мерзляков. Эта вполне добродушная реакция «озверевших жандармов» на описанные события еще раз подтверждает, что когда товарищ Коба осваивал Туруханщину, «конвоиры» там еще не были грубы, «как псы». Читателям, знакомым с последующей историей нашей бывшей Страны Советов и обладающим некоторым воображением, предлагается самим попытаться себе представить картину, как подобный конфликт мог бы разрешиться в этих же лагерных краях лет двадцать-тридцать спустя.

Образовавшаяся у товарища Кобы, хоть и не вполне нормальная, половая жизнь вернула ему жажду полезной для революции деятельности, и летом 1914 года он пытается восстановить свою переписку с товарищами — пишет дорогому другу Зиновьеву, просит прислать адрес Бухарчика — еще одного убиенного им впоследствии дорогого друга — и прочим, заказывает революционную литературу, собирается учить английский язык. Однако почта достигала Курейки лишь пару раз в году, и интенсивной переписки не получалось. Пользуясь различными поводами, находившими положительный отклик в душе доброго пристава Кибирова, товарищу Кобе время от времени удавалось слинять из Курейки в столицу Туруханского края — село Монастырское: то что-то там оформить, то показаться врачу и т. п. Сохранилось описание одного из таких его приездов осенью 1915 года, как раз в тот момент, когда Ильич за границей никак не мог вспомнить его фамилию:

«И. В. Джугашвили прибыл по первому же санному пути в нартах, запряженных четырьмя собаками, в сопровождении местного охотника, появился в оленьем сакуе, в оленьих сапогах

и оленьей шапке». Таким вождь появился в доме своего друга С. Спандаряна и приветствовал хозяина братским поцелуем. Затем товарищ Коба, замученный пресным общением с сибирской малолеткой, принялся за жену Спандаряна, симпатизировавшую вождю, Веру Лазаревну Швейцер, и, почувствовав, наконец, в своих руках настоящую женщину, влепил ей два страстных кавказских поцелуя в губы, а та, почти сомлев в его объятиях, оба раза вскрикивала: «Ах, Коба! Ах, Коба!»

Тем временем братаны Перепрыгины слегка подросли, и старшие из них могли уже сделать товарищу Кобе предъяву за сестру. Из донесения Серова Хрущеву известно: товарищ Коба обещал городу и миру, что обязательно женится на малолетке, когда она чуть подрастет. И вот она взрослела в страстных объятиях джигита, рожала ему детей, а тот все не вел и не вел ее к венцу. Братаны Перепрыгины, где-то летом 1916 года, не стерпев семейного позора, пошли на жениха с кольями, и тот для начала, поскольку Енисей был уже безо льда, заплыл на лодке не без чьей-то помощи на безлюдный песчаный остров, носивший название Половинка, где при попустительстве жандарма Мерзлякова, отвечавшего за непременное присутствие ссыльного вождя в Курейке, а не на какой-нибудь Половинке, прожил более месяца.

Многие удивлялись, как мог товарищ Коба, этот большевистский новый Робинзон, вооруженный только марксистской идеологией, прокормить себя на необитаемом острове. Правда, в восторженных глазах его поклонницы — Веры Лазаревны — вождь был удачливым охотником и рыболовом и однажды угостил ее и Спандаряна «трехпудовым осетром», которого он тут же поймал в проруби на «самолов» («веревка с большим крючком для ловли рыбы»,— поясняет Вера Лазаревна). Глупый, конечно, был осетр, хоть и трехпудовый. Товарищ Коба тут же, при гостях, собственноручно ловко распотрошил осетра, и они его съели.

Пребывание товарища Кобы в Курейке, тем не менее, несмотря на наличие трехпудовых осетров, становилось все более неприятным и опасным, и тут ему на помощь опять пришел добрый пристав Кибиров, получивший в октябре 1916 года предписание енисейского губернатора о призыве административно-ссыльных на военную службу. В списке призываемых значились все административно-ссыльные мужского пола, и Кибиров, воспользовавшись этим, отправил товарища Кобу в распоряжение красноярского воинского начальника, зная наперед, что его земляк — наш будущий вождь — из-за бездействия левой руки к воинской службе непригоден. Так товарищ Коба покинул Туруханский

край осенью 1916 года и в дальнейшем околачивался уже в южной обжитой части Енисейской губернии — в Красноярске и Ачинске. Брачных уз с малолетней курейчанкой ему удалось избежать.

В военных кругах Красноярска довольно быстро разобрались в физических недостатках гения всех времен и народов и оставили его в покое, не дав, подобно его коллеге по сотворению новых империй — бесноватому Адольфу — покрыть себя солдатской славой, заработав Егория. К военному делу, как мы знаем, он приобщился позже, добывая в Царицыне хлеб для народа, и дослужился до генералиссимуса, в то время как фюрер до конца дней своих оставался ефрейтором.

Через пару месяцев после попытки приобщения товарища Кобы к Первой мировой войне, в Российской империи грянула Февральская революция и всё смешалось в доме Облонских. Вскоре, как мы теперь знаем, пломбированный вагон пересек Германию и зарубежная большевистская гоп-компания преодолела российско-финскую границу. Это знаменательное событие весьма своеобразно отразилось в народной памяти в форме анекдота, входящего в необъятную «лениниану»:

Ильич работает за столом. Вдруг раздается горьковское покашливание:

— Гм, гм, Владимир Ильич, может быть, по рубличку и отдохнем немного!

— Знаю я эти «по рубличку», Алексей Максимович! — картавя, отвечает Ильич, и продолжает: — Когда после пломбированного вагончика мы через Гельсингфорс возвращались в Питер, тоже там было «по рубличку», «по рубличку», и я так наклюкался, что на Финляндском вокзале вскочил на броневик и такую херню понес, что, прости господи, до сих пор не могу с этим разобраться!

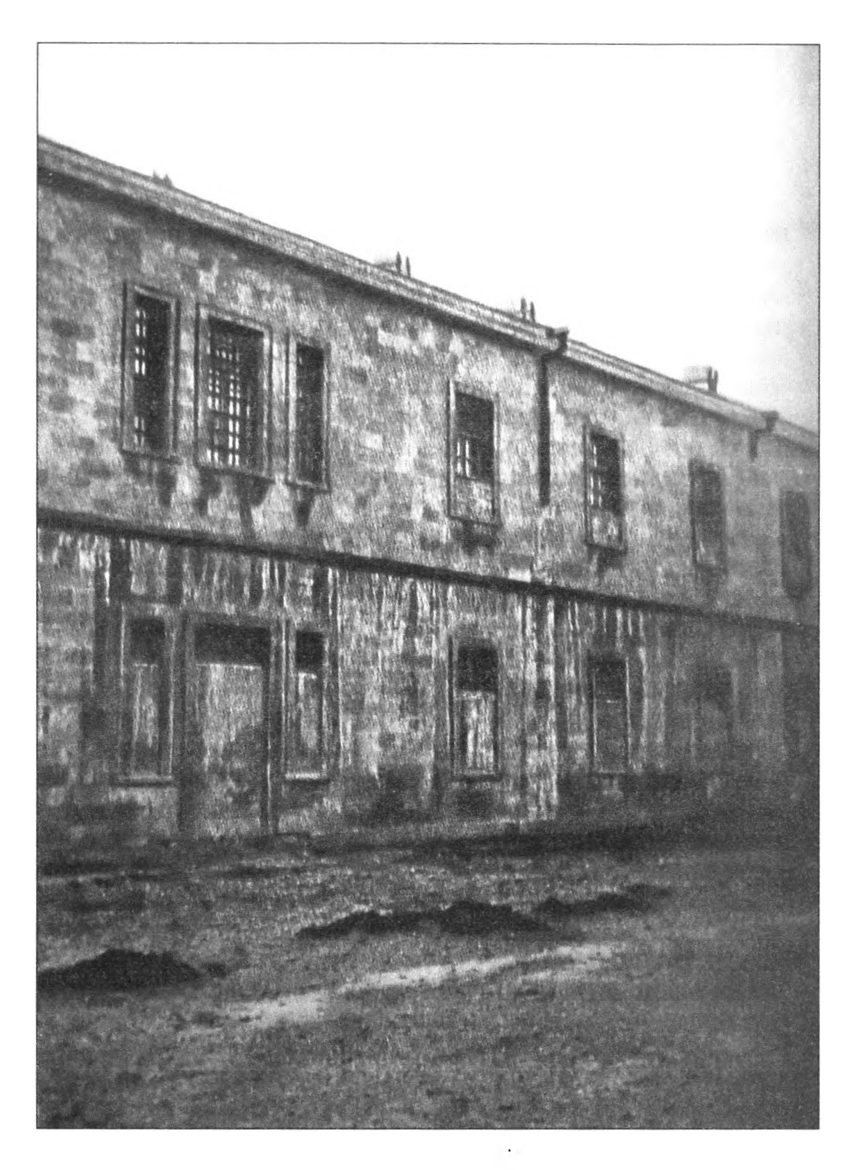
Коба и другие осибиренные товарищи прибыли в Питер за пару недель до Ильича, но встречать пахана будущий вождь не пошел, решил присмотреться. А поезда с революционерами продолжали приходить в бурлящую столицу Империи: почуяв запах смерти, в умирающую страну слетались стервятники и воронье. Голос товарища Кобы, да и его физиономия, еще не обнаруживались на первом плане этой массовой сцены. В сей вакханалии были тогда другие кумиры: мне запомнились куплеты частушек из прочитанной в далекой юности книги «Конь Вороной», написанной моим знаменитым земляком Б. В. Савинковым и изданной в 20-х годах с предисловием автора, сочиненном им во внутренней тюрьме Лубянки:

Полюбили сгоряча
русские рабочие
Троцкого и Ильича,
и всё такое прочее.

Товарищ Коба, как видим, здесь еще не просматривается, но во втором куплете его незримое присутствие уже ощущается:

Расстреляли сгоряча
русские рабочие
Троцкого и Ильича,
и всё такое прочее.
....

«Всё такое прочее», как известно, исчислялось многими сотнями тысяч. Таковы «революционная» статистика и диалектика...



Баиловская тюрьма в Баку.
Четвертое окно второго этажа камеры,
в которой сидел товарищ Сталин в 1908 году

Эпилог

А из зала мне: — Давай все подробности!
Все как есть, ну, прямо — всё как есть!
А. Галич. Красный треугольник

В упоминавшейся в начале «сталинской» части нашего повествования книге профессора Александра Островского «Кто стоял за спиной Сталина» есть своего рода резюме, в котором подводится итог сомнениям, возникающим при ознакомлении с жизнеописаниями молодого товарища Сталина (он же товарищ Коба) и с документами, подтверждающими те или иные ситуации в неутомимой революционной деятельности нашего вождя.

Однако прежде чем продолжить разговор о труде профессора Островского, я хочу обратиться к другому сочинению — книге Анри Барбюса «Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир». Французский писатель-коммунист и иностранный член советской Академии наук, автор знаменитой военной книги «Огонь», впоследствии сильно потускневшей в лучах окопной правды Ремарка, завершил свой панегирик вождю в январе 1935 года, и уже через год вся советская страна была завалена этим импортным шедевром. Передо мной сейчас лежит последнее, роскошное по тем временам, издание 1937 года, а еще год спустя эта книга была изъята: Барбюс поминал в ней добрым словом Енукидзе, Крыленко, Бухарина и прочих, уже расстрелянных героев революции, а так как самого сочинителя к тому времени уже не было в живых, то править его текст своими силами в Москве не решились. С тех пор ни один серьезный историк сталинской эпохи к сочинению Барбюса не обращался. Я же решил не опасаться высокопарных слов (как советовал один Бард, которого вождь народов в свое время освободил от родительской опеки своим обычным способом), и привести здесь десяток звонких фраз дружно и всеми забытого француза о начале карьеры «подлинного вождя»,

«человека, который бодрствует за всех и работает,— человека с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата», держащего в своих руках всё «лучшее в нашей судьбе» (Барбюс забыл упомянуть, что наш «отец и старший брат» был еще к тому же безлошадным крестьянином селения Диди-Лило). Далее говорит Барбюс:

«Ремесло подпольного агитатора, профессионального революционера, увлекшее Сталина, как и многих других, — это тяжелое ремесло. Кто взялся за него, тот вне закона, за ним охотится весь аппарат государства, его травит полиция. Он — добыча царя и его огромной, откормленной, вооруженной до зубов, многорукой своры. Он подобен ссыльному в коротком временном отпуску, он прячется, приникая к земле, он всегда должен быть начеку. Он — молекула революции, почти одинокая в толпе, он окружен высокомерным непониманием «интеллигентов», он затерян в гигантской паутине капитализма, охватившей все страны от полюса до полюса (тут не только 170 миллионов царских подданных, но и все вообще люди, какие есть на земле), — и это он, вместе со своими друзьями, хочет заново переделать мир. Появляясь то там, то здесь, он сеет гнев и воспламеняет умы, а единственный рычаг, которым он должен поднять народы, — это его убеждение и его голос.

Займешься этим ремеслом, и куда ни глянь — на горизонте четко вырисовываются тюрьма, Сибирь да виселица. Этим ремеслом может заниматься не всякий.

Надо иметь железное здоровье и всесокрушающую энергию; надо иметь почти беспредельную работоспособность. Надо быть чемпионом и рекордсменом недосыпания, надо уметь перебрасываться с одной работы на другую, уметь голодать и щелкать зубами от холода,, надо уметь не попадаться, а попавшись — выпутываться. Пусть тебе выбьют все зубы, пусть тебя пытают раскаленным железом — надо стерпеть, но не выдать имя или адрес. Все свое сердце надо отдать общему делу; отдать его чему-либо другому — нет ни малейшей возможности: постоянно приходится перебрасываться из города в город,— ни минуты свободного времени, ни копейки денег.

Это еще не все. Надо быть пропитанным надеждой до самого мозга костей; даже в самые мрачные минуты, даже при самых тяжелых поражениях надо неуклонно верить в победу».

В идеале всё написанное Барбюсом — правда, но в действительности «огромная, откормленная, вооруженная до зубов, многорукая свора», охранявшая царя, всё же в те времена состояла еще из людей, с которыми товарищу Кобе иногда удавалось наладить кое-какие отношения. Товарищ Коба понимал, что эти отношения были ему крайне нужны и для относительно безбедного существования, и для сохранения жизни, но никогда не послужат его славе, и многое из случившегося в те годы ему хотелось бы забыть. Отсюда и появляется великое множество вопросов без ответов, собранных в книге профессора Островского.

Что же все-таки смущало профессора Александра Островского и какие вопросы у него возникали?

Вопрос первый. Почему в синоптических и апокрифических биографиях товарища Сталина отсутствуют точные даты и общее количество таких важных для революционера фактов, как аресты и побеги из-под арестов и ссылок. В разных биографических публикациях упоминаются со слов вождя шесть-семь-восемь арестов и четыре-пять-шесть побегов, хотя их было, соответственно, не менее девяти арестов и восьми побегов. Чем объясняется такое плохое знание вождем своей собственной биографии, включая дату собственного дня рождения — 6(18) декабря 1878 года?

Вопрос второй. Почему из предназначавшегося филерам почти десятка полицейских описаний его примет практически нет хотя бы двух полностью идентичных?

Вопрос третий. Почему агенты охранки Михаил (М. Коберидзе) и Фикус (Н. Ериков), знавшие лично товарища Кобу в один период его жизни, не узнавали его спустя год-два, хотя необходимость «узнавать» была одним из главных элементов их профессии, а меньшевик Г. Уратадзе утверждал, что канонизированные изображения вождя народов мало похожи на облик Джугашвили, которого он лично знал в начале 1900-х годов?

Эти вопросы профессор Островский связывал с версией, согласно которой И. В. Джугашвили до октябрьского переворота и И. В. Сталин после октябрьского переворота — «это разные люди, и последний плохо знал революционную биографию первого». Такая версия казалась ему фантастической, так как существовало довольно много людей (некоторую их часть товарищ Сталин потом убил, а некоторые еще в 20-х годах умерли своей смертью), знавших Сталина до и после 1917 года. Конечно, очень трудно признать возможным, что на съезд в Стокгольм приезжал один человек, а на совещание к Ильичу в Краков — другой, или что в туруханской ссылке и затем в первой бражке советских

правителей, скажем, со Свердловым, общались совершенно разные люди, а опытный большевистский волк, каким был Яков Михайлович, не замечал подмены. В то же время эпизодические подмены в подпольный период существования товарища Кобы вполне возможны, когда один выдает себя за другого. Тем более что смутные воспоминания об одной такой подмене (Коба за Жванию, Жвания за Кобу) сохранились. Такие «локальные» подмены и могли заводить в тупик определенную часть охранительной агентуры.

Дело в том, что советские историки «революционных ситуаций», как и Барбюс, обычно изображали охранительные службы Российской империи как некий монолит, «как один человек», источавший «вихри враждебные», обходя при этом общие законы психологии, общественного поведения, действующие в любом коллективе. Более того, во времена товарища Кобы охранительный блок не представлял собой единое административное учреждение, а состоял из трех почти самостоятельных коллективов, связанных, практически, только общей целью. Во все эпохи между такого рода коллективами существовали конкуренция и соревнование, временами доходившее до конфликтов (вспомните соревнование Щелокова и Андропова и вооруженный конфликт между их службами). Отсюда — замедленное «реагирование» на «сигналы», поступающие из одной службы в другую, взаимные подсказки «путей борьбы», оказывающиеся ложными, и т. п. К этому следует добавить, что внутри коллектива любой из этих служб также возникали и развивались процессы, присущие любому человеческому сообществу: борьба за продвижение вверх по иерархической лестнице, за хлебные места и т. п. Кроме того, повсеместно, во всех ячейках спецслужб существовала и коррупция — неизбежный спутник любой власти, особенно в тех случаях, когда власть не ограничена жесткими законами и имеет свободу действий.

В такого рода охранительных службах, при всем их грозном виде, существовали ниши, потайные ходы и просто зоны слабой стыковки. Ими во все времена пользовался преступный мир, с которым эти службы были призваны бороться, и особенно успешной была в таких делах организованная преступность, одним из наиболее совершенных вариантов которой была объединенная криминальная группировка российских большевиков.

Остальные вопросы-загадки, перечисляемые профессором Островским, в разной степени касаются репутации товарища

Кобы как человека и революционера. Впрочем, моральный кодекс революционера вообще и революционера-большевика, в частности, в каком-нибудь завершенном виде, как, например, «моральный кодекс строителя коммунизма», ни нам, ни, по-видимому, профессору Островскому не известен. Поэтому и его, и наши оценки влияния поведения молодого вождя и ситуаций, в которых он оказывался поневоле или по собственной личной инициативе, на его репутацию являются весьма и весьма приближенными. С этим и начнем, и Всевышний нам поможет. Итак, обратимся к вопросам без ответов.

Почему все-таки товарищ Коба был исключен из семинарии?

Почему ни в одном из его жизнеописаний не упоминается его первое «знакомство» с полицией (обыск в 1899 году, первый арест в 1900 году, задержание в ночь на 22 марта 1901 года)?

Почему при наличии «дела», заведенного 23 марта 1901 года на товарища Кобу, нашего вождя никто не разыскивал и, более того, когда его местонахождение обнаружилось, никто не стал его задерживать, а «дело» вообще каким-то образом закрылось? (Все-таки обидно, понимаешь: получается, что наш гений всех времен и народов даже ареста у врагов не заслужил!)

Почему «дело» о доказанной следствием причастности товарища Кобы к батумской заварушке не имело судебного продолжения и фактически было закрыто?

Почему и кем были подчищены материалы «дела» товарища Кобы в Тифлисском Губернском жандармском управлении в 1903 году, что существенно облегчило приговор?

Почему, когда пришло время реализовать этот приговор, отправив смутьяна в Сибирь, спецслужбы не имели представления, где находится товарищ Коба?

Почему в жизнеописаниях товарища Кобы не прояснены смутные слухи о его первом, неудавшемся побеге из Сибири в конце 1903 года?

Каким образом у товарища Кобы могло оказаться удостоверение агента охранки с подписью (и печатью) уездного исправника, обеспечивающее ему удачный исход побега из Сибири в январе 1904 года?

Где товарищ Коба добыл деньги на этот побег?

Почему товарищ Коба, покинув место ссылки, безбоязненно вернулся туда, откуда он всего за три месяца до побега был выслан?

При наличии воспоминаний ряда лиц о том, что у вернувшегося в 1904 году из ссылки товарища Кобы не было ни копейки

денег, на какие средства он существовал в Батуме и Тифлисе в 1904 году, бездельничая почти полгода?

Почему в эти полгода Миха Цхакая не загрузил товарища Кобу революционной работой?

Почему остаются неизвестными подробности и цели поездки товарища Кобы в Кобулети и сведения о его контактах там с пограничной службой?

На чем основывали меньшевики свои обвинения в провокаторстве и связях с охранкой, предъявленные товарищу Кобе в 1904—1905 годах?

За что конкретно и кем был избит товарищ Коба на «маевке» в 1904 году?

Куда делись материалы об аресте и побеге товарища Кобы в 1905 году и куда вообще делись документы по кавказским делам, относящиеся к 1905—1907 годам, в архивах Департамента полиции и Тифлисского охранного отделения?

Кто же все-таки был провокатором из числа участников Таммерфорской конференции, где побывал товарищ Коба?

Выдал ли товарищ Коба авлабарскую типографию «врагам революции», чтобы таким образом получить свободу и мотануться в Стокгольм на съезд?

Отсутствуют подробности тесных домашних взаимоотношений с руководством спецслужб сестер Сванидзе и чудесного освобождения Като из-под ареста.

Кто в Тифлисском Губернском жандармском управлении (не Еремин ли?) подготовил в 1908 году фальшивую справку о революционной, т. е. бандитской, деятельности товарища Кобы в 1904—1908 годах, в которой все содеянное в эти годы вождем народов выглядело мелкими шалостями незрелого юноши?

Почему в Бакинском Губернском жандармском управлении, имевшем в своем распоряжении информацию о бакинских похождениях нашего абрека, пошли на подлог документов, чтобы смягчить наказание, причитающееся товарищу Кобе, что и произошло: вождю народов, «не догулявшему» два с половиной года сибирской ссылки по приговору 1903 года, за всю его деятельность по 1908 год включительно присудили только два года, и не в Сибири, а в Вологодской губернии?

Почему не прояснены странные обстоятельства его этапирования в Вологду и Сольвычегодск, когда он, по слухам, пребывал под фамилией реального арестанта Баиловской тюрьмы некоего Жвании и куда-то исчезал «по пути к пункту назначения более чем на месяц»?

Почему уже после Второй мировой войны из архивов Вологодского Губернского жандармского управления были изъяты все материалы, касающиеся сольвычегодского анабазиса гения всех времен и народов?

Почему не исследованы все обстоятельства, связанные с «фонтаном» провокаций и доносительства в 1909—1910 годах в Баку, когда товарищ Коба не без помощи охранительных служб спасался от суда соратников?

Почему Особые совещания в 1910 и 1911 годах противодействовали охранительным службам, заменяя их жесткие предложения по высылке товарища Кобы в Восточную Сибирь (в том числе — в Якутию) административным поселением вождя во все той же Вологодской губернии?

Почему после самовольной отлучки товарища Кобы (в 1911 году) с места поселения и последовавшего за этим ареста товарищу Кобе было разрешено возвратиться в Вологодскую губернию без конвоя, а сопровождавшую его наружку снабдили при этом сфальсифицированным словесным портретом преступника?

Почему в 1912 году, когда товарищ Коба уже был членом ЦК РСДРП, к нему продолжало благоволить Особое совещание (хотя его состав не был постоянным) и очередное наказание «революционера» было столь же мягким, как и все предыдущие?

Несколько подобных вопросов возникает и при знакомстве с обстоятельствами пребывания товарища Кобы-Сталина в туруханской ссылке, описанной в предыдущей главе.

И наконец, можно сказать, главный общий вопрос: почему же товарищ Коба-Сталин, оказавшись в малозначащем при Ильиче кресле генсека, сразу же начал упорно работать над изъятием сохранившихся касающихся его материалов охранительных служб из областных архивов по местам пребывания товарища Кобы до 1917 года, частично уничтожая их, в результате чего образовывались информационные хронологические провалы в системе этих документов, а к сохраняемой их части предельно ограничен доступ?

Добавлю к этому перечню еще один вопрос от себя: почему друг товарища Кобы — большевик-провокатор Роман Малиновский — вместо того, чтобы исчезнуть бесследно, вернулся в Россию почти сразу же после октябрьского переворота? С чем он приехал? Что привез за пазухой для товарищей, и почему он был без суда и следствия убит большевистской охранкой через день после ареста, не успев ничего и никому поведать о том, что, надо надеяться,

он хорошо знал? Для справки: главный собеседник провокатора в последние часы его жизни, выслушавший его исповедь,— член «трибунала» и большевистский «правовед» Николай Крыленко был убит товарищем Кобой в 1938 году.

Далее профессор Островский пытается дать свои ответы на эти вопросы. Мы не будем их здесь повторять, поскольку они представляют частное мнение одного человека и не подкреплены надежными документами, ибо, если бы такие документы существовали и были известны профессору Островскому, то не было бы надобности формулировать вышеперечисленные вопросы. Для автора же этой книги все его читатели в настоящем и будущем абсолютно равноправны, и каждый из них имеет возможность на основании содержащейся здесь информации выработать свое собственное понимание действий товарища Кобы в различных житейских ситуациях. В общем — думайте сами, решайте сами.

Примите же, однако, к сведению важную мысль, принадлежащую замечательному мудрецу, покровителю благородной Бухары — шейху Баха-ад-Дину Накшбанду: «Никогда не позволяйте себе каждую вещь оценивать способом, не относящимся к тому времени. Одно должно соответствовать другому». Применительно к нашему случаю этот совет означает, что для правильной оценки того прошлого, которому посвящен этот роман, читатель, как уже говорилось в первой его части, должен перенести себя в описываемое в нем время, поставить себя в условия, этому времени соответствующие, и спросить себя самого, как не товарищ Коба, а он сам поступил бы в том или ином из описанных случаев. И тогда краешек правды, может быть, приоткроется, чему я буду очень рад.

В порядке же посильной помощи тем, кто об этом задумается, здесь без комментариев помещается один характерный циркуляр Департамента полиции от 24 мая 1910 года, обращенный к начальникам охранных отделений Империи, одним из авторов которого мог быть переведенный в этот департамент в 1910 году многоопытный полковник А. М. Еремин. При внимательном прочтении этот циркуляр может объяснить многие события последних десятилетий царского режима:

«Милостивый государь! Практика указала, что сотрудники, давшие неоднократно удачные ликвидации и оставшиеся не привлеченными к следствию или дознанию, безусловно рискуют при следующей ликвидации, если вновь останутся безнаказанными, «провалиться» и стать, с одной стороны, совершенно бесполезными для розыска, обременяя лишь бюджет Департамента

полиции и розыскных учреждений, с другой же стороны, вынуждаются вести постоянную скитальческую жизнь по нелегальным документам и под вечным страхом быть убитыми своими товарищами. В подобных случаях более целесообразно не ставить сотрудников в такое положение и, с их согласия, дать им в конце концов возможность если то является необходимым, нести вместе с своими товарищами судебную ответственность, имея в виду то, что, подвергшись наказанию в виде заключения в крепость или в ссылке, они не только гарантируют себя от провала, но и усилят доверие партийных деятелей и затем смогут оказать крупные услуги делу розыска как местным учреждениям, так и заграничной агентуре, при условии, конечно, материального обеспечения их во время отбытия наказания. Сообщая о таковых соображениях, по поручению г. Товарища Министра Внутренних Дел, командира Отдельного корпуса жандармов, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что Его Превосходительством будет обращено особое внимание как на провалы агентуры, так и на ее сбережение, и в особенности на предоставление серьезных секретных сотрудников для заграничной агентуры, которая может пополняться только из России и притом лицами, совершенно не скомпрометированными с партийной точки зрения. Примите, милостивый государь, уверения в совершенном моем почтении».

Мне же остается повторить то, что уже говорилось в четвертой главе этого романа: для меня лично абсолютно всё равно — был ли товарищ Коба агентом или осведомителем охранительных ведомств или он таковым не был. Более того, я полагаю, что профессор Островский не так уж ошибался, высказывая пугавшее его самого предположение, что «И. В. Джугашвили и И. В. Сталин — это разные люди». Я считаю, что И. В. Джугашвили-Коба-etc и И. В. Сталин — это действительно разные люди, поскольку структура личности вождя после обретения им безграничной власти фактически так резко и необратимо изменилась, что он перестал ощущать свое родство с молодым абреком, похождениям которого посвящен этот роман. Правда, Серго Берия в своих мемуарах вспоминал, что т. Сталин в старости любил прихвастнуть бандитскими подвигами товарища Кобы и, может быть, чтобы доказать самому себе, что есть еще порох в пороховницах, он лично, вникая во все детали, руководил злодейским убийством Михоэлса. Кто знает?

Думаю, что сам он это непреодолимое различие между Кобой и Сталиным окончательно осознал, прочитав пьесу М. Булгакова «Батум». Булгаков силой своего гения, даже будучи скованным

незримой цензурой, вернее, самоцензурой, смог все-таки хоть немного оживить мертвечину примитивных казенных воспоминаний, и в ворохе «проверенных данных» промелькнуло подобие человеческого образа. Будущий генералиссимус себя в этом облике не узнал, и на глазах у изумленной публики родилась нетленная мудрость, гласившая, что все молодые люди похожи друг на друга, и потому писать нужно не о товарищах Сосо и Кобе, занимавшихся черт знает чем, а о нынешнем Сталине, делающем вместе с бесноватым Genosse Адольфом историю человечества (дело было во второй половине 1939 года, когда уже сварганили «пакт» и протокольчик к нему). Считаю, что товарищ Сталин в своих выводах был прав, хотя надо полагать, что возможность хотя бы для себя попытаться узнать, какие именно и каким образом черты товарища Кобы отразились в характере гения всех времен и народов, тоже будет не лишена интереса для думающего читателя. На эту тему уже написано так много, что всю накопившуюся информацию переварить невозможно, и, в то же время, и в жизни, и в смерти вождя многое остается неясным, недоступным и секретным. По-видимому, для того, чтобы сделать следующий шаг по направлению к истине в этом крайне запутанном вопросе, еще не пришло время.

Впрочем, и в эту сложную проблему свой кирпичик, свой посильный вклад я уже внес, написав очерк «Т-щ Сталин и т-щ Тарле», касающийся нескольких эпизодов жизни вождя в 1930—1950-х годах и включенный в эту книгу.

Несмотря на что я практически всю жизнь прожил в Империи Сталина, вопрос о политическом наследии вождя меня интересует значительно меньше, чем эпизоды его биографии. Я твердо знаю, что след любого человека после его ухода из мира живых поступает в распоряжение Всевышнего, и в положенный срок каждый, призванный Им, увидит свои деяния в истинном свете, и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его. Так что все впереди, и остается только подождать.

При этом я не посягаю на права и достояние нетерпеливых, сражающихся за посмертную оценку деяний вождя и проклинающих его посмертных врагов, разрушивших Империю Сталина, кажущуюся им священной. Я не буду спорить и отстаивать свою точку зрения хотя бы потому, что у меня ее просто нет и какой-либо необходимости в ней я не испытываю. Но как беспристрастный посторонний наблюдатель (а иным не может быть суфий, следующий заветам шейха Баха-ад-Дина Накшбанда), я хочу

дать борцам за посмертную политическую репутацию вождя небольшую информацию для размышления (хотя она и общеизвестна, но почему-то многими прочно забыта):

В 30-х годах XX века существовало три главных империи:

— Британская империя;

— Третий рейх;

— сталинская Империя, именовавшая себя «Советский Союз».

Две из них исчезли с карты мира в середине XX века, а третья — сталинская — выродившись в страну развитого социализма, в 1991 году ушла в подполье.

Третий рейх и Советский Союз были созданы на манер учреждения, описанного в рассказе Ф. Кафки «В исправительной колонии», и реализовали, как представлялось их идеологам, мечту о создании некоего «нового человека».

Когда Третий рейх испустил дух, его именем стали пугать детей, а колонизированная им Европа постаралась как можно быстрее забыть о своем немецком имперском прошлом.

Когда лопнул Советский Союз, то не только входившие в него колонии Российской империи, но и его восточноевропейские сателлиты постарались мгновенно забыть о своем добром Большом Брате, изъять из обращения его язык и разбежаться в разные стороны. И, несмотря на давние, хорошо известные комплименты Сталину, звучавшие из уст Черчилля и Рузвельта, современный Запад воспринимает Гитлера и Сталина как политических «близнецов-братьев», создателей крупнейших в XX веке Империй Зла.

А когда тихо, почти без шума и пыли постепенно распалась Британская империя, то все ее колонии, подвергшиеся, согласно учению Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, звериной империалистической эксплуатации, почему-то не захотели отрываться от метрополии. Все они, включая Австралию и Канаду с их необъятными территориями и процветающий Сингапур, все эти республики и царства общим числом в почти сотню субъектов, образовали Британское содружество наций и государств, многие из которых сохранили в своем обиходе английский язык, а некоторые даже до сих пор добровольно подчиняются Ее Величеству королеве Великобритании.

Почему же случилось именно так? Думайте сами, решайте сами.

Если жаждущие Истины найдут для себя ответ на этот маленький вопрос, то все остальное станет им ясным. Прежде чем помянуть тех, кому кажется, что ответ этот известен уже сегодня, приведу политический анекдот времен застоя в развитом социализме:

когда сняли одного из гауляйтеров Северной Пальмиры, слывшего ярым юдофобом (имя забыл, потому что имя им — легион), то его прямо из Питера отправили послом в Китай. С горя батяня хорошо принял в правительственном лайнере и, выйдя на трап, посмотрел на встречавших его китайцев и сказал: «Прищурились, жиды проклятые!» Виновники всех бед были налицо.

Большинство упомянутых искателей истины давно уже не имеет вопросов: их «истина» состоит в том, что все в мире плохо из-за сионистов, засевших в США, и из-за других остервенелых и страшных врагов России, к которым теперь еще прибавились Грузия, Украина, Польша и, временами, Эстония.

Один туповатый литератор, запамятовал его фамилию и название печатного «органа», в котором он облегчался, некогда укорял меня в претензиях на особую близость ко Всевышнему. Вследствие своей необразованности этот «критик» не знал о существующих многие века взаимоотношениях между Всевышним и суфиями, позволяющих последним иногда приблизиться к пониманию Его Промысла. Поэтому, несмотря на принятые мною к сведению замечания и возражения, я рискну высказать свое предположение о том, почему Всевышний не воспрепятствовал возникновению Советского Союза и Третьего рейха: я могу допустить, что, сохраняя в критических ситуациях жизнь их будущих фюреров (не дав юному Сосо погибнуть под колесами кареты и конки, а бесноватому Адольфу — умереть от отравления ипритом или люизитом на Западном фронте Первой мировой войны), Всевышний планировал создать для человечества своего рода наглядное пособие — указатель направлений, ведущих в никуда, в нравственный тупик. Но пока, к сожалению, в мире существуют явные признаки того, что эта затея Ему не вполне удалась и часть человечества все еще продолжает грезить о марксистско-ленинско-сталинской и нацистской версиях рая на Земле. Если так подойти к делу, то вроде бы никто и не виноват.

Я же уповаю на будущее.

И несколько слов напоследок

Стихотворение «Клятва вождя», входящее в «сталинский цикл» Александра Галича, заканчивается словами:

В мире не найдется святотатца,
Чтобы поднял на меня копье!
Если ж я умру, что может статься,
Вечным будет царствие мое!

Мое обращение к сталинской теме произошло в конце 2008 — начале 2009 года в ответ на просьбу «группы товарищей», как любили выражаться в сталинскую эпоху, с просьбой написать что-нибудь биографическое об Евгении Викторовиче Тарле. Немного поразмыслив, я написал присутствующий в этой книге очерк «Т-щ Сталин и т-щ Тарле», впервые публикуемый в Украине.

Завершив этот очерк и отправив его читателям, я не почувствовал, что сталинская тема в моей душе полностью исчерпана, и, под влиянием юбилейной суматохи вокруг этого имени, поднявшейся в России, я время от времени возвращался к мыслям о «вожде народов» как о своем старшем современнике, известном мне не только по книгам, написанным большей частью его посмертными ненавистниками, но и по отзывам людей, знавших его лично, с которыми мне приходилось общаться при еще живом «вожде». И мне хотелось написать о нем что-нибудь, говоря словами Марины Цветаевой, «живое о живом», а не о трафаретном злодее или о не менее трафаретном «гении всех времен и народов» и «родном отце» всех угнетенных трудящихся. Поэтому я пошел по самому легкому пути, позволявшем мне избежать соблазна использования установившихся штампов, ограничив время повествования годами бесшабашной молодости своего героя. Так родился этот небольшой роман о дореволюционных приключениях

товарища Сталина. На его страницах я не «поднимаю копье» на покойного «вождя» и, поэтому, считаю, что у непреклонных сталинистов нет оснований обвинять меня в «святотатстве». Написанное мной есть лишь взгляд прожившего отнюдь не святую жизнь старого человека (я уже сегодня старше Сталина на несколько лет) на похождения грешного молодца, ни праведником, ни отшельником не являвшегося. Ну а то, что мы все еще его помним, хотя многие звезды и властители дум ушедших времен уже прочно забыты, свидетельствует о том, что вождь у Галича не так уж ошибался, говоря: «вечным будет царствие мое», хотя вечного, как мы знаем, ничего не бывает. И это хорошо, что не бывает.

Вошедший в эту книгу очерк «Дела батумские» близок по своему сюжету к содержанию романа о молодом вожде, а по времени написания ему предшествует. В нем, как и в романе, присутствует кое-что мое личное.

Январь 2010

Приложения



Дела батумские (к 70-летию пьесы М. А. Булгакова «Батум»)

В конце 70-х, когда я был по казенной надобности в Москве, в моем головном институте мне попалось на глаза объявление о намечавшейся в его стенах лекции, посвященной творчеству М. А. Булгакова. Свободное время у меня было, и я задержался, чтобы послушать. Булгаковская тема в те времена была модной, но мне она была небезразлична еще и потому, что меня многие годы связывали дружеские отношения с Любовью Евгеньевной Белозерской-Булгаковой.

На этой лекции я впервые услышал о существовании пьесы «Батум», которую лектор представлял как «незаконченную». День спустя я был у Л. Е. и рассказал ей об этой лекции. Оказалось, что, несмотря на ее личные мхатовские связи, о наличии в архиве Булгакова рукописи «Батума» она не знала и не могла поверить в ее существование, потому что ее Булгаков – тот, что сохранился в ее памяти, просто *не смог* бы написать такое.

Однако, год спустя Эллендеа Проффер привезла Л. Е. опубликованную ее издательством («Ардис») книгу «Неизданный Булгаков» (Энн Эрбор, 1977), содержавшую текст этой пьесы. Любовь Евгеньевна была очень расстроена и впервые в моем присутствии сказала несколько «теплых» слов по адресу Е. С. Булгаковой, представлявшейся ей инициатором этого, по ее мнению, холуйского деяния, предпринятого ради обретения материальных благ и удовлетворения отнюдь не писательских амбиций. (Следует отметить, что, судя по опубликованному впоследствии дневнику Е. С. Булгаковой, Любовь Евгеньевна была очень близка к истине.)

По недостатку времени я тогда только пролистал американское издание и лишь много лет спустя прочитал полный текст пьесы «Батум», уже обросший к тому моменту многочисленными комментариями и рассуждениями.

Как известно, пьеса эта в 1939 году была практически завершена, читана с восторгами и по общемхатовскому мнению ее постановка должна была стать очередным триумфом прославленного

театра. И вдруг, как гром среди ясного неба, «сверху» последовало категорическое запрещение пьесы, воспринятое Булгаковым как смертный приговор.

Внимание большинства советских и несоветских комментаторов «Батума» было сосредоточено не на нравственной стороне попытки оппозиционного писателя стать придворным драматургом, а на причинах, по которым была отвергнута эта пьеса, по сути дела, заказанная к юбилею Сталина. Литературоведы, как это у них принято, ищут причины немилости в намеках и ассоциациях, выдвигая соответствующие гипотезы, среди которых упоминание в числе примет Сталина «родинки на левом ухе», в чем вождь, будь он «большим ученым»-литературоведом, а не известным языковедом, смог бы усмотреть аналогию с бородавками Гришки Отрепьева в сцене опознания самозванца в «Борисе Годунове», или явление черта, спрятавшего луну в карман, в новогоднем тосте Сталина. По мнению комментатора, этот похититель луны мог вызвать в памяти Сталина фольклорный образ «рябого черта», оскорбительный для вождя, поскольку он, во-первых, был рябым, а, во-вторых, имел в батумские времена конспиративную кличку «Чопур», т. е. «Рябой». Все это было бы складно, но упомянутый в тосте черт с луной в кармане в первоисточнике (у Гоголя) не был не только рябым, но и вообще человекоподобным существом.

И так далее.

При этом, далеко не все исследователи булгаковского текста могут удержаться от фантастического предположения, что все придуманные ими намеки и ассоциации Булгаков разместил в пьесе умышленно, чтобы закодировать таким образом свое истинное отношение к «вождю народов».

Разъяснения же причин запрета пьесы, неофициально «спущенные сверху», звучали примерно так:

«Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова».

Эта формулировка, в которой претензии носят общий характер, может рассматриваться как неприятие творческой фантазии автора живым главным героем его пьесы. При этом, однако, несмотря на безусловную одаренность Сталина и его феноменальную память, трудно себе представить, что он так сходу определил в словесной вязи булгаковского текста реминисценции произведений Пушкина, Гоголя и, тем более, неопубликованного романа «Мастер и Маргарита». Поэтому основную причину краха пьесы

«Батум» следует, на наш взгляд, искать не в литературном, а в «партийном» аспекте проблемы.

Для этого восстановим ход событий, связанные с появлением пьесы «Батум»:

1936 г., 6 февраля	— запись в дневнике Е. С. Булгаковой об идее Булгакова сочинить пьесу о Сталине.
1936 г., 31 марта	— письмо тогдашнего директора МХАТа М. Аркадьева А. Поскребышеву о намерении Булгакова писать о Сталине.
1938 г., август-ноябрь	— настоятельные предложения Булгакову от «высоко-поставленных» мхатовцев написать пьесу о Сталине к юбилею «вождя» и возможное их обращение в Кремль по поводу предоставления писателю архивных материалов.
1939 г., зима-весна	— написана пьеса «Батум».
1939 г., 24 июля	— пьеса представлена в МХАТ и 27 июля одобрена партийным собранием театра.
1939 г., 14 августа	— негласное запрещение «сверху» постановки и публикации «Батума».
1939 г., 17 августа	— неофициальное разъяснение причин запрета режиссером В. Сахновским со ссылкой на резко отрицательный отзыв «наверху».
1939 г., 10 октября	— Сталин во время посещения МХАТа сказал В. И. Немировичу-Данченко, что пьеса ему понравилась, но ставить ее нельзя.

Теперь попытаемся проанализировать, что же могло происходить за кулисами фактов, отразившихся в этих скупых хронологических заметках.

У того, кто хоть мало-мальски осведомлен о кремлевской кухне сталинских времен, не могут возникнуть сомнения в том, что все, о чем узнавал т. Поскребышев, немедленно становилось известно т. Сталину. Таким образом, сведения о том, что Булгаков «созрел», доходят до вождя уже в 1936 г., но он, по своему обыкновению, ничего не предпринимает, ожидая дальнейшего развития событий: ведь Булгаков еще не стар, и торопиться некуда.

А в марте того же года после запрещения «Мольера» (не без участия Сталина) Булгаков уходит из МХАТа, и вопрос о «сталинской пьесе» для этого театра замораживается. Но, как оказалось,

не навсегда: через два с лишним года Булгакова, работавшего тогда либреттистом в Большом театре, начинают осаждать толпы мхатовских авторитетов, уговаривающих его приготовить пьесу к 60-летию «вождя народов».

Опять-таки, трудно предположить, что Сталин ничего не ведал об этой «облаве»: вождь не любил пускать дела на самотек. Все должно было быть организовано. («Кто организовал вставание?» – спрашивал он, узнав, что Ахматову приветствовали стоя). Дошел до него, естественно, и мхатовский запрос об архивных материалах для будущей пьесы.

Пускать Булгакова в архивы никто не собирался, и выделенные для написания «материалы», скорее всего, ограничивались книгой «Батумская демонстрация 1902 г.», красиво изданной к 35-летию этого события Партиздатом ЦК ВКП (б) (М., 1937) и какими-нибудь мелкими «проверенными» партийными публикациями. Сам Булгаков вряд ли приобретал «батумскую» книгу, так как в 1937 году ему было не до истории большевистского движения, а задержаться в магазинах до осени 1938 г. такой шедевр партийной мысли не мог, поскольку партия, конечно, позаботилась, чтобы «народ» мгновенно раскупил этот бестселлер о подвигах своего любимого «вождя». Кроме того, есть некоторые основания предполагать, что экземпляр этой книги, переданный организаторами «акции», ранее побывал в руках товарища Сталина, но об этом – позже.

«Батумская» книга ограничивала временные рамки действия в будущей булгаковской пьесе 1904-м годом, что, на наш взгляд, вполне объяснимо, поскольку Сталин имел все основания сомневаться в способности аполитичного Булгакова разобраться в хитросплетениях позднейших сложных большевистских интриг и дружеских партийных пакостей, а когда речь шла о первых шагах рано созревшего для революции героя, можно было надеяться, что писатель «сделает из говна конфетку», как выражаются С. Ожегов и Н. Шведова в «Толковом словаре русского языка».

Тот, кто внимательно прочтет вышеназванную книгу о Батумской демонстрации и сопоставит ее с «Батумом» М. Булгакова, убедится, что претензии к пьесе, высказанные «наверху» и переданные через МХАТ ее автору, практически лишены оснований. Дело в том, что почти все «положения», в которых оказывался в «Батуме» «вождь», были взяты Булгаковым из рассказов участников демонстрации и воспроизведены в пьесе с максимальной точностью. То же можно сказать и о «словах, вложенных в уста такого лица, как Сталин»: Булгаков точно использовал переданную

мемуаристами прямую речь «вождя» и лишь «выпрямлял» тексты, в которых эта речь передавалась косвенно. Исключение составляют только семинарские сцены и встреча с цыганкой в «Прологе», но они в пьесе погоды не делают и, при необходимости, могли бы быть безболезненно откорректированы в нужном направлении. Что-то «нехорошее» было, по-видимому, в самом выборе действующих лиц пьесы, в «подборе кадров», как любили говорить Сталин и его соратники.

Вот, например, важную роль в пьесе играет все понимающая «Наташа, дочь рабочего Сильвестра». Она появляется во второй картине и до конца пьесы пребывает рядом с «вождем», встречая вернувшегося из ссылки «товарища Сосо» в своем доме и укладывая его спать на последней странице этого драматического повествования. Но кто такая Наташа и заслуживает ли она столь высокой чести?

Создавая ее сценический образ, Булгаков честно (говорят, что его честность, как драматурга в неофициальной беседе признал и сам «вождь») использовал «Воспоминания о вожде» Натальи Киртадзе-Сихарулидзе (она же Наталья Киртава). Однако, в книге о Батумской демонстрации 1902 г. была опубликована лишь часть записок Натальи Иосифовны Киртадзе (Киртава). В 1902 г. она была соломенной вдовой, поскольку ее муж – некий Фисенков – находился в «безвестной отлучке». Во время своего первого пребывания в Батуме «вождь», постоянно меняя свое местожительство, действительно пользовался и ее гостеприимством. (Здесь и далее используются фрагменты архивных материалов, опубликованные в книге А. Островского «Кто стоял за спиной Сталина». СПб.: «Издательский дом «Нева» – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003.) В революционной среде со времен народнического движения, как известно, царила свобода нравов, так как постоянный риск не мог совмещаться с ханжеством, и «товарищи»-женщины были в этом отношении лишены предрассудков. Сам т. Сталин во время своей первой сибирской ссылки, «заработанной» на батумской заварушке, не пренебрег этим обстоятельством и, совершив побег в начале 1904 г., по пути провел целые сутки наедине с ссыльной «революционеркой» Марией Айзиковной Берковой, и знает только ночь глубокая, как поладили они. Длинная зимняя сибирская ночь.

Прибежав в Батум из Сибири, он снова поселился у Натальи Киртадзе (Булгаков описал это в пьесе), но вскоре вынужден был уехать по причинам, о которых будет сказано ниже. Обосновавшись на некоторое время в Тифлисе, «вождь»,

оказавшийся не у дел, затосковал по женской ласке и, чтобы скрасить свою одинокую жизнь, направил письмо Наташе Киртадзе с приглашением переселиться к нему. Однако, грузинкам, даже ставшим «товарищами», было трудно преодолеть вековые нравственные устои и пуститься во все тяжкие, и Наташа отказала «вождю». Этот отказ он воспринял как смертельную обиду, и когда в его очередной приезд в Батум весной 1904 г. она к нему подошла, он, задыхаясь от злобы, заорал: «Уйди от меня!». Свои обиды «вождь», как известно, помнил очень долго, и встреча в булгаковской пьесе с женщиной, оскорбившей его мужское достоинство, вряд ли была ему приятна.

Столь же неприятной была для него, по всей вероятности, фамилия «Рамишвили». В списке действующих лиц пьесы ее нет, но она возникает в сцене ареста «вождя», когда гимназист Вано называет себя жандарму: «Вано Рамишвили». Здесь Булгаков опять-таки абсолютно точен в пределах своей информированности: в книге «Батумская демонстрация 1902 г.» есть воспоминания об этом аресте, в том числе того самого «гимназиста» Ивана Рамишвили. Но Булгаков не знал, что в батумских событиях участвовал и другой Рамишвили – Исидор, который с первого дня пребывания «вождя» в Батуме был настроен по отношению к приезжему «революционеру» весьма враждебно. Ну а после возвращения Сталина из ссылки стал одним из первых в истории марксистских движений на Кавказе обвинителем «вождя» в связях с царской охранкой, и картина его возвращения из Сибири в дом Наташи в соответствии с неизвестной Булгакову частью ее воспоминаний могла бы быть дополнена такой сценой: на следующий день Исидор Рамишвили вызвал Наташу в комитет и стал кричать:

«– У тебя остановился Джугашвили?!

– Ты должна прогнать его из дома, в противном случае исключим тебя из наших рядов».

А во второй, после ссылки, столь же непродолжительный приезд Сталина в Батум Исидор Рамишвили стал одним из инициаторов жестокого избиения «вождя» 18 апреля (1 мая) 1904 г. на маевке. Он же, как говорили, придумал Сталину кличку «Иоська Кривой», ставшую впоследствии популярной среди меньшевиков, и вряд ли после всего этого «вождя» могло порадовать появление фамилии «Рамишвили» в юбилейной пьесе.

До сих пор говорилось о том, чего Сталин, как можно предположить, не хотел бы встретить в пьесе «Батум», но встретил, а теперь обратим внимание на то, что ему (также – предположительно) хотелось бы увидеть в сочинении Булгакова, но чего он там не нашел.

В поступившем в распоряжение Булгакова экземпляре книги «Батумская демонстрация 1902 года» был жирно красным и синим карандашом обведен предпоследний абзац воспоминаний Дометия Вадачкория, гласивший: «Помню рассказ товарища Сосо о его побеге из ссылки. Перед побегом товарищ Сосо сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный субъект – шпион. Чтобы избавиться от этого субъекта, товарищ Сосо сошел на одной из станций, предъявил жандарму свое удостоверение и потребовал от него арестовать эту «подозрительную» личность. Жандарм задержал этого субъекта, а тем временем поезд отошел, увозя товарища Сосо».

В комментариях «выделение» этого фрагмента обычно приписывают Булгакову, но его пристрастие к красным и синим карандашам в других случаях никем не отмечалось, зато общеизвестна устойчивая привычка Сталина использовать эти цвета, отчеркивая важные с его точки зрения фрагменты текста при чтении книг и документов. Поэтому не исключено, что именно «вождь» пометил, таким образом, свой рассказ о побеге из первой ссылки, чтобы обратить на него внимание Булгакова. Есть признаки того, что этот фрагмент был надиктован мемуаристу или просто вписан в текст воспоминаний при их подготовке к печати, потому что в оригинальной рукописи «вождь»-рассказчик упорно именовался «товарищ Сталин», да и в самом рассказе в его начальной редакции были элементы двусмысленности: «Товарищ Сталин рассказал нам, как он бежал из ссылки: товарищ Сталин заготовил подложный документ, подписанный одним из сибирских исправников, удостоверяющий...» и т. д.

Таким образом, из неизвестной Булгакову рукописи воспоминаний Д. Вадачкория можно сделать вывод, что охранительный документ Сталин не «сфабриковал», а заготовил, и что на этом документе была подлинная подпись (и, конечно, печать) «одного из сибирских исправников» (как оно, вероятно, и было в действительности). В опубликованной редакции воспоминаний прямое содействие «одного из сибирских исправников» побегу «вождя» было устранено, и Сталин в ней сам изготавливает липу, которую потом с блеском использует в своих конспиративных перемещениях по пространствам Российской империи, наводненным глупыми жандармами, не способными распознать фальшивку. Кроме того, в опубликованной редакции воспоминаний «товарищ Сталин» был заменен «товарищем Сосо», чтобы этот абзац не выделялся из остального текста, где «вождь» назван своим

собственным уменьшительным именем, а не грозной партийной кликухой.

Почему Сталин мог желать, чтобы Булгаков использовал этот сюжетец в будущей пьесе? Дело в том, что в 30-х годах минувшего века слухи о сотрудничестве Сталина с царской охранкой (преследовавшие его со времен его «революционной» молодости) становились все более устойчивыми. Поговаривали даже о существовании где-то за границей каких-то подлинных документов (некоторые биографы Сталина полагают, что речь в этом случае шла все о том же «письме Еремина» – высокопоставленного чиновника из царского Министерства внутренних дел, переданном для публикации в СМИ проживавшей в США графиней Александрой Толстой вскоре после смерти «вождя»). Не исключено, что «вождю» тогда хотелось, чтобы его простодушная версия, объясняющая появление у него охранительного документа, перекочевала из малоинтересной книги батумских воспоминаний на подмостки театров всей страны, да еще и осененная именем Булгакова.

Черновики «Батума» свидетельствуют о том, что Булгаков старался как-то прикоснуться к обстоятельствам «чудесного» побега, но он, конечно, понимал, что фабрикация ссыльным убедительного жандармского удостоверения относится к происшествиям, которые, говоря словами «ученого соседа», не могли произойти, потому что не могли произойти никогда, и он прекратил свои попытки увековечить в пьесе это весьма подозрительное «приключение» Сталина.

Ознакомившись с пьесой, Сталин понял, что ожидаемая им «конфетка» не получилась – для таких оценок у него, в те времена – заядлого театрала, художественного вкуса хватало. Кроме того, что-то в этой пьесе вызвало в нем ненужные и неуютные воспоминания. Ну а намерения Булгакова ехать в Батум «для сбора дополнительных материалов» его уже просто обеспокоило.

В порядке отступления от основной линии моего очерка скажу, что, как выразился другой булгаковский «герой», «меня терзает смутное сомнение» в том, что Булгаков собрался в Батум «за материалами». Какие еще «материалы», когда пьеса завершена? На мой взгляд, работа над «Батумом» освежила его воспоминание о 1921-м годе, когда он, только что отметив свое тридцатилетие, бродил по бесконечной батумской набережной, мечтая убежать в Турцию. Эта светлая память о красивом городе и об ушедшей молодости отразилась в словах губернатора в пьесе: «И что случилось с Батумом? Было очаровательное место тихое, безопасное...», «... этот прелестнейший, можно сказать, уголок земного

шара...». И Булгакову захотелось еще раз, может быть последний, прикоснуться к этой прелести, в чем и была истинная причина этого путешествия, предпринятого им на волне и в счет будущего успеха уже, казалось бы, принятой на ура пьесы. А сопровождавшие его мхатовцы, судя по их настроениям, рассматривали это путешествие как веселый пикник.

Но Сталину, по-видимому, мерещилось другое. Ведь там, в Батуме были не только «организованные» отборные мемуаристы, но и многотысячная масса прочих людишек, каждый из которых мог что-то знать, помнить, слышать, а истребить всех этих нежелательных свидетелей как, например, род Амилахвари, даже у крупнейшего историка закавказского большевизма – Лаврентия Павловича Берии – не было никакой возможности. Так что, чем черт не шутит – могли всплыть какие-нибудь «неорганизованные», не подцензурные воспоминания. И «вождь» полоснул посталински и по пьесе, и по розовым мечтам Елены Сергеевны, и по душе самого Булгакова. Так крах этой пьесы имеющей историко-биографическое, но не литературное значение, стал закономерным завершением трагедии последних десяти лет жизни великого писателя, проведенных в ожидании милостей от Годо, роль которого, в данном случае, играл «товарищ Сталин».

Сам же «вождь», чтобы подсластить горькую пилюлю своего запрета и не лишать Булгакова надежд на будущие милости, высказал для неофициальной передачи автору несколько похвальных слов о пьесе и о проявившейся в ней честности драматурга. Говорят, что к этим утешениям «вождь» добавил свою очередную «мудрость»: «Все дети и все молодые люди одинаковы». Возможно, он понимал, что мелет вздор, ибо молодой Пушкин, молодой Эйнштейн, молодой Генрих Наваррский и многие другие, по счастью, не были похожи на молодого Сталина. Тем не менее, книга под названием «Молодые годы вождя народов» может быть, на мой взгляд, интересна и поучительна, и, если будет на то воля Всевышнего, я ее, в память о сраженном «Батумом» Михаиле Афанасьевиче Булгакове, постараюсь написать.

Июль 2009.

Т-щ Сталин и т-щ Тарле

В заглавие этого очерка вынесено обращение И. В. Сталина к Тарле — «т-щу» — из сохранившегося единственного (?) письма «вождя». Я полагаю, что это обращение избрано Сталиным не случайно: он таким образом давал понять разжалованному академику, что его жизнь отныне будет продолжаться в новой реальности, где он уже не будет ни «господином», ни «милостивым государем», ни даже просто «сударем» — в мире, где можно быть только «товарищем» или... «врагом народа», из этих «товарищей» состоящего, где слова Иисуса «кто не со Мною, тот против Меня! (Мф 12, 30) обезличены, переведены во множественное число и стали одним из лозунгов, оправдывающих массовые репрессии и преступления государства в его постоянной войне с собственным народом: «Кто не с нами, тот против нас!» «Товарищеское» обращение «вождя» было призвано еще раз напомнить Тарле об этом весьма узком выборе: или, или...

Отношения Сталина и Тарле — наиболее интригующая загадка двух последних десятилетий жизни знаменитого историка.

В конце 70-х годов прошлого века мне иногда приходилось общаться с питерскими историками, знавшими Тарле лично, и среди них была доктор истории Ида Григорьевна Гуткина, считавшая себя его ученицей и написавшая о нем несколько страниц воспоминаний. При встрече я задавал ей разные вопросы, в том числе на темы, которые она по идеологическим условиям того времени обошла в своих записках. Был и вопрос о Сталине в жизни Тарле. Она рассказала мне, что во время ее последней встречи с Тарле осенью 1954 г. историк уклонился от разговора о «вожде»:

— О Сталине я еще когда-нибудь вам всё расскажу.

Но не рассказал, вернее — не успел рассказать.

Мое последнее общение с Тарле также относится к осени 1954 г. Перед моим отъездом мы долго говорили о том, о сем, сидя на закрытой веранде мозжинской дачи, коснулись и почившего в бозе «вождя». Тогда, по молодости лет, я еще не чувствовал тайны их «особых» личных взаимоотношений и потому не был настойчив в своих расспросах. Тарле же сказал:

— Ты еще услышишь и узнаешь о нем очень много неожиданного. Где труп, там соберутся и орлы, только, вот, вряд ли это будут орлы. Скорее — холуи, для которых нет большего наслаждения,

чем укусить мертвого Хозяина. И думаю, вернее, знаю, что будет это очень скоро, ибо «орлы» тоже не вечны.

Итак, тайна ушла вместе с людьми, к ней причастными, и поэтому каждый, кто после их ухода обращался к этой теме, был вынужден пользоваться отрывочными или косвенными сведениями и делать свои выводы, оставаясь в области предположений. При этом предположения могли быть самыми фантастическими.

Так, например, писатель Юрий Давыдов в замечательном (возможно, в самом лучшем) своем романе «Бестселлер» сконструировал случайную встречу Сталина и Тарле летом 1917 года в редакции журнала «Былое», куда будущего «гения всех времен и народов» привело душевное смятение: стоит ли продолжать участвовать в, казалось бы, обреченном на провал большевистском движении, бандитская сущность которого ему, как никому другому, была очевидна, или лучше, продав Ильича, примкнуть к демократическим силам. Одним из рупоров этих сил был журнал В. Л. Бурцева, в сотрудниках которого значился Тарле.

У Давыдова Сталин добрался до редакции «Былого», когда у Бурцева шло совещание. Он еще не созрел для известного королевского негодования, вылившегося в чеканную фразу какого-то Луи: «Мне пришлось ждать!» Ему у Давыдова таки пришлось ждать, и он ждал. И вот совещание закончилось, мимо Сталина проходят его участники – огромный Щеголев, потом будущий самоубийца Водовозов, а «следом г-н Тарле, еще не академик. Костюм из белой чесучи, светлая соломенная шляпа, он направляется на дачу – в Сестрорецк или Мартышкино? Он, как и другие, на Сталина не глянул. Нет, не дано Тарле предугадать, что именно т. Сталин, ненавистник иудеев, его, еврея, не дает в обиду тридцать лет спустя». Из контекста следует, что Сталин в романе Давыдова узнал и запомнил Тарле. Нарушения художественной правды и логики здесь нет, т. к. и до 1917 года Тарле был не только известным историком и лектором, но и заметным публицистом, а в 1917 году после Февральской революции он на некоторое время стал заметным общественным деятелем: он тогда съездил в составе делегации социал-демократов, не входящих в ленинскую шайку, на переговоры о взаимодействии с «отцом» шведской социал-демократии, министром финансов Швеции Карлом Брантингом, будущим лауреатом Нобелевской премии мира, а затем вошел в Чрезвычайную следственную комиссию, созданную Временным правительством для расследования деятельности царских министров и сановников. Сталин, как известно, не был лишен авторской жилки – об этом свидетельствует и публикация стихов

на грузинском языке, и упорная работа в русскоязычной партийной журналистике, и стремление сказать свое слово в теоретической области. (Здесь имеется в виду достаточно зрелая работа «Национальный вопрос и социал-демократия», опубликованная за подписью К. Сталин в 1913 г. в легальном большевистском журнале «Просвещение».) Если к этому добавить неутолимую страсть к чтению и феноменальную память Сталина, а также присущее грузинам уважение к печатному и ученому слову, то предположение Давыдова о том, что Тарле в 1917 году уже был известен своему будущему «куму» как человек, достойный некоторого внимания, имеет право на существование.

Тем не менее, никаких сведений о личном интересе Сталина к деятельности Тарле до и в первые десять — двенадцать лет после Октябрьского переворота не имеется. Хотя Сталин, как внимательнейший читатель большевистской партийной и советской прессы, не мог не заметить постоянных нападок «историков-марксистов» на всё, что выходило из-под пера Тарле, особенно во второй половине двадцатых годов, после того как он вопреки стараниям «партячейки» Академии наук был избран ее действительным членом. Просто у Сталина тогда на всё не хватало времени: ему, как всегда, приходилось воевать на два фронта — выковыривать из теплых руководящих мест командиров «ленинской гвардии» и искоренять порожденное «новой экономической политикой», внедренной т. Лениным, стремление людей к нормальной жизни. При этом во многих случаях «вредные привычки» хорошо жить искоренялись вместе с людьми. Дел было невпроворот.

К началу тридцатых полегчало: вокруг «вождя» сплотились «верные сталинцы» и со дня на день мог наступить момент, когда физическое уничтожение «ленинской гвардии» можно будет поставить на поток, а пока нужно было готовить «кандидатов» для будущей мясорубки. Феноменальная память пригодилась Сталину и здесь: никакие списки ему не были нужны: он всех «товарищей» помнил поименно. Как показало недалекое будущее, большинство третировавших Тарле «марксистов» оказалось в этом виртуальном списке. Повезло лишь его, Тарле, главному врагу — признанному гуру всех ныне прочно забытых «историков-марксистов» — Михаилу Николаевичу Покровскому: он умер в 1932 году.

Когда осенью 1931 года по решению «Особого совещания» ОГПУ Тарле был отправлен в ссылку в Алма-Ату, историк был потрясен: видимо, вследствие многолетнего общения с А. Ф. Кони в нем сохранялась вера в то, что в России могут существовать

какие-то законы, и он надеялся на «справедливый суд», на котором обнаружится глупость следователей, серьезно воспринимавших его фантазии о складах оружия в Пушкинском доме и в Михайловском, о встречах с Папой римским и т. п., и все станет на свои места. Однако «суд» в бандитском государстве вершился (и вершится) «по понятиям», а истина никого не интересует. И Тарле ищет тех, кто понимает идиотизм происходящего и может прийти к нему на помощь. Среди тех, чьей возможной помощи он не исключает, и М. Н. Покровский — все-таки вроде бы ученый, а ученый в трудные минуты может пренебречь теоретическими расхождениями и не отвернуться от находящегося в беде коллеги. Тарле, конечно, не знал или не был полностью уверен в том, что «академик» М. Н. Покровский — элементарный паскудник и опытный провокатор, еще в 1922 году предлагавший ЧК арестовать всех «буржуазных спецов», и главное — что именно этот «академик» был истинным вдохновителем фабрикации «Академического дела»: по его призыву «переходить в наступление на всех научных фронтах», поскольку «период мирного сожительства с наукой буржуазной изжит до конца», в июле 1929 г. Ленинградский обком ВКП(б) не без подсказки Кремля принял постановление *«Не возражать против проведения чистки в Академии наук»*. Ну а о том, чтобы придать этой «чистке» идиотские формы, позаботились идиоты-следователи.

Ответ «т-ща» М. Н. Покровского отрезвил Тарле: «Когда Вы писали Ваше письмо, Евгений Викторович, Вы, очевидно, не знали, что я читал Ваши показания в оригинале и что передо мной, просто как перед историком, стоит такая дилемма: или Вы психически расстроены, или Ваше пребывание в Алма-Ате свидетельствует о необыкновенной мягкости советской власти: если бы Вы были французским гражданином и совершили всё, о чем Вы рассказываете в Ваших показаниях, по отношению к Франции, Вы были бы теперь на Чертовом острове. Остается, значит, только вопрос об использовании Вас как научного работника независимо от Вашего политического прошлого. Поскольку заключенные в Соловках занимаются научно-исследовательской работой и исследования их печатаются, я не вижу оснований думать, чтобы это было невозможно для человека, интернированного в Алма-Ате, но я очень боюсь, что появление работ с Вашим именем, благодаря той печальной известности, которую это имя получило в СССР, встретит на своем пути очень большие трудности. Кроме того, как Вы догадываетесь, не могу дать никакого категорического ответа, не посоветовавшись с *кем следует...*»

Как видим, матерый провокатор и стукач Покровский не принял шуток со складом боеприпасов в Пушкинском доме и был искренне огорчен мягкостью власти в отношении ссыльного Тарле. Покровскому виделись виселицы с казненными «спецами» или хотя бы Соловки. Не забыл он и переправить письмо Тарле в ОГПУ, как положено в стране стукачей, сопроводив его следующей запиской:

«Секретно,
в ОГПУ
Секретный отдел.

Время от времени ко мне поступают письма историков, интернированных в различных областях Союза. Так как эти письма могут представлять интерес для ОГПУ, мне же они совершенно не нужны, пересылаю их Вам.

Очень прошу извинить за задержку в пересылке, она объясняется, во-первых, тем, что я был в течение ряда месяцев болен и, во-вторых, мне хотелось подобрать несколько таких писем,— они приходили в разное время».

В порядке отступления скажу, что мне было бы интересно почитать «в оригинале» показания самого Покровского, когда, доживи он до 37-го года, перед ним «дверь в ЧК» была бы непременно «гостеприимно открыта» (в кавычках — слова Покровского, отразившие его жажду расправы со «спецами»), и куда бы он зашел следом за теми, с кем он в 1932 г. «советовался». Но Аллах почему-то проявил милость и прибрал его до срока, возможно, чтобы сопроводить в ад, куда, по словам пророка Мухаммада, одними из первых проследуют завистливые ученые. Впрочем, никаким «ученым» Покровский никогда не был: всего лишь бездарный компилятор.

Получив ответ «товарища», Тарле понял, что в этой стране его юмор никто не оценит. Но, вероятно, он ошибался: у его «показаний», в которых фантастические «признания» перемежались с оригинальными для того времени мыслями о научном подходе к истории и об историческом образовании, был какой-то весьма серьезный читатель, оставивший на его текстах свои следы красным и синим карандашами. Через пять лет красный и синий карандаши будут гулять по рукописи знаменитого «Наполеона», но там их принадлежность уже сомнений не вызывает: все цветные подчеркивания и пометки были сделаны рукой Сталина.

Косвенным свидетельством знакомства Сталина с материалами «Академического дела» является и эпизод, относящийся к

концу 30-х, когда «вождь» имел беседу с Тарле и В. П. Потемкиным, дипломатом и историком (тогда первым заместителем наркома иностранных дел) по поводу подготовки «Истории дипломатии». Эта идея Сталина так вдохновила Тарле, что он немедленно устно набросал подробный план такого издания. (Впрочем, не исключено, что об этом желании Сталина Тарле узнал заранее во время какой-нибудь неофициальной встречи с «вождем» и подготовился к развитию событий.) Предложением Тарле Сталин был удовлетворен и, назвав его высококвалифицированной научной консультацией, выразил надежду, что Потемкин эту консультацию непременно оплатит. Эти слова «вождя» так поразили Потемкина, что он рассказал о них в «узком кругу», нарушив негласный в таких случаях обет молчания и не догадываясь, что в нех, вероятно, отразился имевшийся в «Академическом деле» донос С. Рождественского, который и стал формальным поводом для ареста Тарле и в котором говорилось о том, что «Тарле всегда был... большим любителем денег, ради них он был готов на всё». Сталин мог запомнить сей пассаж, но едва ли шутил, говоря о плате: к подготовке «Истории дипломатии» он отнесся серьезно и, как свидетельствуют недавно опубликованные архивные документы, еще дважды — в 40-е годы — обсуждал с Тарле состав очередных томов этого издания. Отметим попутно, что созданная по идее Сталина «История дипломатии» в той форме, которую предложил Тарле, продолжает переиздаваться и в XXI веке.

А тогда, в конце 1931 г., возможно, благодаря тому, что в своем подлом письме Покровский, надо полагать, сам того не желая, напомнил ему о таком же сфальсифицированном «деле» Дрейфуса, Тарле, единственный из всех осужденных по «Академическому делу», официально отказался от всех своих показаний, объявив их вынужденно ложными, и стал ожидать «советского Золя». Однако, Золя ему не понадобился: решение о его возвращении из ссылки уже где-то было принято и опять-таки по понятиям, без всяких шумных процессов.

Отметим, что хлопоты Тарле имели благотворное влияние и на судьбы многих других осужденных по этому «делу»: годом раньше, годом позже они были возвращены из своих ссылок без поражений в правах.

Некоторые приписывают Сталину старинную «мудрость», гласящую, что «месть — это блюдо, которое нужно есть холодным». Думаю, что благодеяние «вождь» также относил к блюдам, которым следует дать настояться. И действительно, разве можно было позволить Тарле въехать в Москву и Питер из Алма-Аты

на белом коне? Ведь это означало бы, что «органы», которые, по определению, «никогда не ошибаются», на этот раз ошиблись! Да и нужно было присмотреться к тому, как поведет себя историк, обретя свободу передвижения и действий в пределах клетки, именуемой СССР, среди «товарищей». Так началось постепенное приближение Тарле к человеку, которого он сам, как и многие другие, именовал Хозяином.

Возникает вопрос: почему именно Тарле? Ведь по «Академическому делу», кроме Платонова и Тарле, проходила целая плеяда известных профессионалов — М. М. Богословский, М. К. Любавский, С. В. Бахрушин, Б. А. Романов, чьи имена и до сих пор не забыты в исторической науке.

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, состоит из двух частей: почему вообще Сталину понадобился «свой человек» за пределами государственного аппарата, и почему этим человеком оказался Тарле.

Поиск ответов на эти вопросы неизбежно приводит искателя в уже упомянутую область предположений.

В качестве ответа на первую часть вопроса может быть предложена элементарная версия: «Сталин скучал». Обстановка в стране и в правящей «элите» в начале 30-х годов, может быть, полнее, чем в научных трудах и мемуарах, отражена в известном стихотворении Мандельштама. Вспомним, каким виделось поэту тогдашнее окружение Сталина:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Устами поэтов, как и устами младенцев, глаголет истина. С помощью «тонкошеих вождей» и «полулюдей» (не будем здесь называть их поименно) Сталин к началу 30-х уже единолично управлял огромной страной, ведя смертный бой с населявшими эту страну народами. Его оружием были голод, сеть лагерей, не оставлявших надежду на выживание тем, кто туда попадал, толпы палачей. Ежегодный апофеоз его войны был намного масштабнее верещагинского. Число жертв исчислялось миллионами, и это придавало «вес» и значительность существованию «вождя» — он ощущал себя исторической личностью (каковой он, естественно, и был).

Как известно, отпуска нет на войне, но как-то расслабиться время от времени все же хотелось, и король стал забавляться. Он посещал Горького, стараясь вести умные беседы с основателем

беломорканального «социалистического реализма», с которым можно было поговорить о «высокой» литературе, помянув Гёте и еще кого-нибудь из великих: начитанности Сталину хватало, а его память сохраняла мельчайшие детали даже при беглом просмотре текста. Но Горький все же как-то сковывал его своей масштабностью и уже не зависящей от воли «вождя» мировой славой. И Сталин звонит Булгакову. Слушавшая этот разговор по отводной трубке и записавшая его Л. Е. Белозерская говорила мне, что у нее тогда же сложилось впечатление, что разговор не получился: Сталин явно хотел сказать и услышать больше, но почувствовал тот самый, описанный Достоевским, «надрыв» в настроении Булгакова, ограничился обещаниями «посильной помощи», и сближение не состоялось. Пару лет спустя «вождь» звонит Пастернаку и задает ему простой вопрос, искренний ответ на который мог бы решить судьбу гениального Мандельштама, но «небожитель» понес какую-то ахинею, и Сталин повесил трубку. Неудачной стала и более ранняя попытка «вождя» сблизиться с Бухариным; тот не пожелал образовать вместе со Сталиным недосягаемый Гималайский хребет («мы же с тобой Гималаи»), возвышающийся над всей партийной и беспартийной чернью, и, нимало не смущаясь, вынес эти горно-интимные мечты друга Кобы на обсуждение и осуждение в «партячейке», состоящей из всякого рода швондеров.

Все те, к кому приглядывался «вождь», не годились ему в единомышленники, а Сталину очень хотелось общаться с интеллектуалом-единомышленником, достойным такого «высокого» общения, конечно — с гуманитарием, поскольку «технарей» и без того хватало. «Академическое дело» вовлекло в свой сатанинский оборот целую плеяду таких интеллектуалов-гуманитариев, но в этой плеяде Тарле был, безусловно, самой яркой звездой. У него уже было завоеванное трудом и талантом высокое положение в мировой науке — за него хлопотали десятки видных ученых, культурных и политических деятелей Запада, его труды выходили за рубежом, даже когда он был в тюрьме и ссылке, и его научная репутация уже не зависела от личной судьбы. Не исключено также, что Сталин был знаком с его историографическим шедевром «Европа с эпоху империализма» — слишком много шума произвела эта книга в «марксистских» кругах, возмущенных дерзостью «несоветского автора» — «классового врага на историческом фронте» (отметим, что «Европа в эпоху империализма» стала первым научным исследованием, в котором нашел свое отражение геноцид армян

в Турции). Не исключено и то, что Сталин был знаком и с яркой антибольшевистской публицистикой Тарле в газете «День» (Петроград) в 1917 г., в которой явно ощущались российские имперские симпатии и предпочтения историка, отвечавшие в определенной мере настроениям «вождя» в 30-х и последующих годах. Все это могло убедить Сталина в том, что из Тарле со временем может получиться интересный и полезный собеседник, лично знавший и общавшийся с Керенским, Михайловским, Плехановым, Милюковым, Пуанкаре, Брианом и многими другими, кого уже не «вытравить» из Истории.

Во всяком серьезном деле, однако, необходим испытательный срок. В данном случае этот срок измерялся пятью годами! («вождь» не имел привычки торопиться). Для Тарле 1932—1936 годы были трудными: он не был реабилитирован и не был восстановлен в Академии наук и, оказавшись без средств к существованию, был готов браться за любую работу. Но работодателей смущал его неопределенный статус «бывшего академика», и университетские кафедры были для него закрыты. Один из институтов «второго уровня» предложил ему прочитать курс лекций по истории колониальной политики западных держав. Он записал текст своих лекций и попытался его опубликовать, но эта книга навсегда застряла в издательстве, и ее беловая рукопись исчезла (в начале 50-х годов автор этих строк обнаружил «слепую» машинописную копию этого курса, и стараниями ученицы Тарле — Маргариты Константиновны Грюнвальд — книга была издана в 1965 г.). Библиография Тарле свидетельствует о том, что в 1932—1935 годах его единственной крупной печатной работой была биография Талейрана, написанная в виде предисловия к первому советскому изданию мемуаров этого дипломата. (Через несколько лет эта биография в дополненном виде станет одной из широко известных книг историка и будет неоднократно переиздаваться даже в XXI веке.) Такого числа «пустых» лет у Тарле не было даже сразу после большевистского переворота.

И лишь в 1935 году в непроглядной тьме тоннеля, в котором он оказался, появился слабенький лучик надежды в виде заказа на биографию Наполеона от возобновленной Горьким павленковской серии «Жизнь замечательных людей». Когда книга уже была сверстана, заведующий редакцией «ЖЗЛ» А. Н. Тихонов-Серебров поделился своими опасениями с Горьким (в письме 26 апреля 1936 г.): книга хороша, но слишком уж «раскованная». «Хозяин сказал мне, что он будет ее первым читателем. А вдруг не понравится?! Амба».

Появление и судьба тарлевского «Наполеона» окутана легендами.

Легенда первая: заказ на «Наполеона» был сделан по подсказке Сталина. Такие слухи, видимо, циркулировали в определенных кругах, иначе чем можно было бы объяснить слова Тарле в письме жене из Москвы 2 августа 1935 г.: «Страшно важный (может быть) разговор был, а может быть, и ерунда. Очень большие bonnets (бонзы, фр.) заинтересовались. В первый раз по такой линии... Думаю, на сей раз еще ничего не выйдет. Но — занятно».

Тарле очень любил повторять известную фразу Порфирия Петровича: «...Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Я слышал от него ее несколько раз и однажды сказал, что к той Руси, в которой мы тогда жили, более подходит другое:

Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

В 35-м же году перед Тарле стояла непростая задача: сделать своего «Наполеона» таким, чтобы он понравился всем и в том числе тому, кто тогда примерял к себе наполеоновскую треуголку. И сделал.

Легенда вторая: Сталин читал «Наполеона» до его выхода в свет и одобрил прочитанное. Об этом будто бы свидетельствуют его красно-синие пометки в беловой рукописи или верстке. Возможно, но этой рукописи я не видел. Косвенным подтверждением этой версии может служить тот факт, что Тарле пережил 10 июня 1937 г., когда одновременно в «Правде» и «Известиях» были опубликованы статьи «А. Константинова» и «Дм. Кутузова», содержащие разгромную критику «Наполеона», обвинения в фальсификации истории и в связях с «врагами народа» К. Радеком и Н. Бухариным, а также напоминание о сфабрикованном в конце 20-х «деле» «вредителя» Рамзина, в «кабинете» которого Тарле должен был занять пост министра иностранных дел. (Как известно, к «процессу Промпартии», он же — «дело Рамзина», Тарле не привлекался и в мифический «кабинет Рамзина» был «вписан» задним числом следователями-сюжетчиками, фабриковавшими «Академическое дело». Самого Рамзина Тарле не знал, и «встретились» они лишь однажды — в списке лауреатов Сталинской премии 1943 г.)

Легенда третья посвящена попыткам определить, что же делал Тарле во второй половине дня 10 июня 1937 г. после прочтения

«Правды» и «Известий». По одной версии Тарле в тот же день сумел через кого-то попытаться найти защиту у Сталина. Эта версия, прямо скажем, сомнительна: не так уж широк был круг знакомых Тарле, которые могли бы в «незабываемом 1937 году» лично похлопотать за него перед «вождем». Собственно говоря, во всей «советской стране» с этой задачкой мог бы справиться только Горький, который в 1937 году хоть и находился поблизости от Сталина, но, увы — в Кремлевской стене. Согласно второй версии, Сталин, устроивший Тарле всё это «воспитание чувств», небезосновательно решил, что «клиент созрел», и, чтобы этот клиент не окочурился от страха, позвонил ему сам, поделился с пострадавшим своим возмущением наглыми выпадами ведущих советских газет и пообещал завтра же исправить дело, защитив обиженного. В этой версии всё стоит на своих местах. «Хитрый вождь-кавказец» разыгрывает элементарную трехходовую комбинацию типа той, с которой средневековые рыцари всех времен и народов завоевывали сердца своих дам: создать видимость смертельной опасности — выступить отважным защитником — обратить в бегство или уничтожить «врага». В полном соответствии с этой «формулой» на следующий день (!) в обеих газетах появились опровержения, реабилитирующие «Наполеона» и его автора. В пользу этой версии говорит и то, что мифические «А. Константинов» и «Дм. Кутузов» так и не обнаружились, и то, что «завтрашние» газеты «Известия» и «Правда» всегда уже были готовы накануне вечером, т. е. тогда, когда по первой версии Тарле искал свои несуществующие «пути» к Сталину (я сам неоднократно покупал завтрашние «центральные» газеты в Москве).

Происшествие с «Наполеоном» стало преамбулой дальнейших уже личных взаимоотношений «вождя» с историком. Продолжилось это, регулируемое Сталиным сближение, письмом «вождя» от 30 июня 1937 г. Письмо это, неоднократно публиковавшееся после 1991 года, является «переходным» документом: в нем еще всерьез упоминаются неизвестные «тт. Константинов и Кутузов» и в то же время дается своего рода карт-бланш на будущее: Тарле предоставлено право ответить на критику «товарищей» в любой форме, в том числе — «в виде предисловия к новому изданию «Наполеона».

Человек, не подвергшийся подобно Тарле многочисленным проискам и ударам «злодейки судьбы», стал бы носиться с этим письмом по всем «инстанциям», устраивая свои земные дела. Но Тарле очень любил Герцена, в том числе его гениальный исторический очерк «Император Александр I и В. Н. Каразин»,

опубликованный во 2-м выпуске «Полярной звезды» на 1862 г., в котором описаны взлет и падение незаурядного человека, слишком понадеявшегося на просвещенность, благородство и искренность самодержца. Не ощущая коварства царедворцев, Каразин своими благими порывами и советами, «как нам обустроить Россию», не замечая перемен в настроениях монарха, ускорял свой конец и изгнание из дворца. Для царской свиты этот конец был закономерным, а для Каразина — неожиданным, как для обманутого мужа известие о супружеской измене:

«Ничего не замечая, он явился к государю. Государь его принял с насупившимися бровями. Каразин стоял как пораженный громом.

— Ты хвастаешься моими письмами?

— Государь...

Но государь не дал ему ответить.

— Посторонние знают, что я тебе писал одному и никому не показывал. Ты можешь идти».

Вот и всё. Поэтому Тарле уложил это письмо в шкатулку и никому не показывал.

В 1953 г., уже после смерти «вождя», тетушка Леля (Ольга Григорьевна Тарле) раскрыла передо мной эту шкатулку. Я с трепетом взял в руки находившийся в ней автограф Пушкина, потом письма Льва Толстого и Чехова. Леля протянула мне письмо Сталина.

— Тоже ведь историческая личность! — сказала она, заметив отсутствие у меня интереса к этой бумажке.

Я взял его в руки, но прочитать не удосужился, да и если бы прочел, то ничего бы не понял: «приключения» знаменитого «Наполеона» в середине 30-х в России во всех подробностях мне еще не были известны. Знал лишь, что был какой-то шум и что всё кончилось благополучно.

После кончины в 1955 г. Евгения Викторовича и Ольги Григорьевны Тарле передачей государству архива историка занималась тетушка Маня (Мария Викторовна Тарновская). Я тогда не был в Москве и подробностей этого акта не знал. Но обратившемуся ко мне в конце 60-х первому советскому биографу Тарле Е. И. Чапкевичу (за рубежом жизнеописания Тарле вышли задолго до появления книги этого автора) я сообщил, что письмо Сталина Тарле действительно существовало, и так как оно в момент передачи бумаг Тарле в архив Академии наук коммерческой ценности не представляло, то, скорее всего, оно находится в архивном фонде историка. Там он его и нашел, а опубликовал уже

в годы «перестройки» в период дозволенной откровенности — в 1990 г. (позднее собственноручный сталинский черновик этого письма нашелся в «архиве Президента Российской Федерации»).

Итак, «хвастаться» письмом «вождя» Тарле не стал, полагая, что если это письмо не случайно (а т. Сталин уже был известен как враг случайностей), то жизнь его наладится и без предъявления этой «справки». И расчет его оказался верен. Благие изменения в его жизни не заставили себя ждать: снятие судимости (понятие и юридический термин «реабилитация» в советском «законодательстве» в то время еще не существовали), назначение старшим научным сотрудником академического Института истории, восстановление в звании действительного члена Академии наук, бесперебойные приглашения на чтение лекций от престижнейших университетов, включение в состав различных престижных комитетов и комиссий (впрочем, не имевших в условиях тоталитаризма никакого влияния на ход событий в стране), просьбы от газетных и книжных редакций дать хоть что-нибудь для печати и т. п., естественно, с улучшением материального положения и бытовых условий.

Круг научных интересов Тарле начинает расширяться, но наполеоновская эпоха еще остается в сфере его внимания. Одну из глав своего «Наполеона», а именно — тринадцатую, он существенно расширяет, и через год она превращается в большую отдельную книгу — «Нашествие Наполеона на Россию»,— увеличившую славу автора. Столь же благожелательно была принята книга о Талейране. Эти книги к давно уже обретенному им международному научному авторитету профессионала-историка (в те годы вышла еще одна классическая его монография — «Жерминаль и прериаль»), специалиста в области европейской истории добавили всемирную славу автора эпохальных исторических бестселлеров. В связи с этим и учитывая, что в этом очерке мне, его автору, часто приходится прибегать к вероятностным оценкам, позволю себе высказать еще одно предположение.

Западная Европа, как уже говорилось выше, внимательно следила за судьбой Тарле в начале 30-х. В основном «волновалась» Франция, но информация на «тарлевскую» тему, безусловно, проникала и в англоязычный мир. Вряд ли от западноевропейских наблюдателей ускользнули и кинематографические (по словам Вяч. Вс. Иванова) метаморфозы статуса и самого Тарле, и его книги «Наполеон». Тоталитарность советского режима ни для кого не была секретом, и все понимали, что подобные метаморфозы происходят только по воле самодержца. На английский

язык «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию» были переведены вскоре после их появления в России — соответственно в 1937 и в 1942 годах. «Нашествие» же, по воспоминаниям И. Майского, наряду с эпопеей Льва Толстого, стало одной из популярнейших книг в кругах английской интеллигенции. В те времена в числе английских читателей был человек, особо внимательно следивший за событиями в Советском Союзе. Его звали Эрик Блэр, в мире же он известен под именем Джордж Оруэлл. Он был убежденным социалистом и демократом и одним из самых непримиримых противников тоталитаризма, в том числе советского, за развитием которого он с прискорбием наблюдал. О глубоком понимании процессов, происходивших в советской империи, свидетельствует его публицистика. Не исключено, что в той идеологической чехарде, которая была затеяна в «стране советов» вокруг Тарле и его «Наполеона», он разглядел и ощутил скрытую симпатию «вождя» к великому французскому «узурпатору» и еще более укрепился в этом своем выводе, услышав во время войны (а тогда к словам Сталина прислушивался весь мир по обе стороны фронта), как «кремлевский горец» защищает славу Наполеона от посягательств на нее со стороны Гитлера (имеется в виду знаменитое высказывание Сталина о том, что Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва). И опять-таки вероятно, что, создавая в 1943—1944 гг. свою сказку «Скотный двор» и находясь под властью этих впечатлений, он назвал возглавлявшего этот коллектив домашних животных хряка не Чингисханом или Тамерланом, как это следовало бы по географическим соображениям (все-таки — Восток, господа), а именем западноевропейского героя Наполеона, придав хряку Наполеону все черты и повадки т. Сталина, а чтобы никто не сомневался в прототипе этого образа, включил в свою «сказку» несколько видоизмененные славословия советских одописцев из бывших дворян и простолюдинов:

Как Солнце на небосклон
Взошел ты! Я видеть рад
Спокойный твой твердый взгляд,
Не ведаешь ты преград,
Товарищ Наполеон.

....

Один ты в полночный час
Не спишь, заботясь о нас,
Товарищ Наполеон!

Покинем, однако, туманный Альбион и вернемся в сталинскую империю второй половины тридцатых годов, где Тарле на седьмом десятке лет приходилось осваивать новые формы существования. Именно к этому периоду относится начало его личных контактов со Сталиным, однако, помня о печальном опыте Каразина, о своих встречах с «вождем» он никому не рассказывает. В комментарии М. В. Зеленова к недавней публикации архивных материалов, относящихся к внутрипартийной дискуссии по статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма», есть такие слова: «В 1938 г. было принято постановление политбюро о переиздании дореволюционной (с участием П. Н. Милюкова) «Истории XIX века» под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо. *Большую роль в появлении этого многотомника сыграл Тарле, который каким-то образом знал позицию Сталина и отражал ее содержание в своих работах,* в том числе и в «Истории дипломатии» (1-й том был подписан в печать в 1940 г. и появился накануне войны) и в «Крымской войне» (1941 г.)».

Вполне понятно, «каким образом» можно было так подробно знать *«позицию Сталина»* — только в результате неоднократных встреч. Да и вопрос о ценности «Истории XIX века» Лависса и Рамбо и о необходимости второго издания этого «буржуазного» труда вряд ли мог входить в компетенцию членов политбюро конца 30-х годов. Скорее всего ранее это было решено на одной из личных встреч Тарле и Сталина, а уж потом «вынесено» на политбюро, куда беспартийный «буржуазный историк» Тарле никак не мог быть допущен.

Годы 1937—1941 были для Тарле годами материального благополучия. Он, конечно, не мог состязаться с теми, кого уже упомянутый Оруэлл именовал «литературными содержанками» (этот эпитет англичанин применил по отношению к А. Толстому и И. Эренбургу), но определенные возможности у него появились: были поездки на курорты, покупка дачи (или части дома) в пригороде Питера (потом безвозмездно отданной тем, кто там поселился в послевоенные годы), начало строительства дачи в Бзугу (теперь территория Сочи), оставшейся недостроенной, регулярная ежемесячная помощь старшей сестре Елизавете Викторовне, моей бабке, жившей в Одессе. Вот только о заграничных путешествиях, о милой Франции пришлось забыть. Как бы в память об этом невозвратном прошлом и в знак прощания с ним он в 1937 г. издает книгу «Жерминаль и прериаль», рукопись которой сохранилась в годы тюрьмы и ссылки, книгу, живо напоминавшую ему о французских архивах, парижских улицах, парижских кафе, где

он отдыхал от своих архивных разысканий. Это — блестящее творение историка, и мне обидно за эту книгу, за то, что ее затмили книги наполеоновского цикла. Тарле тоже любил эту свою книгу, и ее второе издание стало ему утешением в очень трудном для него 1951 году.

Тогда же, перед войной, он как «особа, приближенная к императору», был, естественно, под негласным надзором. Много лет спустя Сергей Берия в своих воспоминаниях поделился с миром мнением батоно Лаврентия об историке: «Глубокие знания истории он (отец.— *Л. Я.*) относил к большим достоинствам замкомиссара (т. е. зам. наркома иностранных дел В. Потемкина.— *Л. Я.*), которыми нельзя было пренебрегать. По этой же причине он собирался предложить историку Тарле дипломатическую карьеру. Но последний был кутилой и патологически ленивым человеком и отказывался от подобных предложений». В этих словах отразились и своеобразная симпатия «нашего советского Гиммлера» (как однажды назвал Берию Сталин) к историческим познаниям Тарле (а к людям сведущим в истории уважителен почти что любой кавказец), и непонимание его как человека. Полагаю, что одна только библиография трудов Тарле опровергает представление о нем как о «патологически ленивой» личности. Удивление Лаврентия вызвало нежелание Тарле, владевшего десятком иностранных языков и знавшего наизусть всю дипломатическую историю Европы, делать личную дипломатическую карьеру. Что касается «дипломатической карьеры», то одно только его невольное пребывание «министром иностранных дел» в придуманных чекистами «кабинетах» Л. Рамзина и С. Платонова и связанные с этим неприятные воспоминания могли навеки отвратить его от подобной деятельности. Но Тарле вообще по своему характеру не был «руководителем». Единственная административная руководящая должность в его жизни звучит весьма своеобразно и загадочно — «управляющий II отделением V секции Единого государственного архивного фонда», и занял он ее в голодном Петрограде в 1918 г., чтобы получать ежемесячную порцию овса или ячменя, или другого лошадиного корма, которым тогда большевистская власть потчевала интеллигенцию, ставшую для нее то ли «прослойкой», то ли подстилкой. Освободившись от этой должности по пришествии нэпа, Тарле до конца жизни — и до, и после получения «сталинского мандата» — администрирования избегал, не руководил ни институтами, ни даже кафедрами и так и умер «простым советским профессором» и «старшим научным сотрудником» Ленинградского отделения академического Института истории.

Превращение Тарле в глазах Берии в «кутилу» (что также не вредило в глазах кавказца репутации «настоящего мужчины») явно основано на донесениях «наружки». Дело в том, что в те предвоенные годы, к которым относится «характеристика» Тарле, сформулированная Берией, московской квартиры у Тарле еще не было, а все возрастающий объем московских дел требовал частых приездов и длительного пребывания в столице. Представить Тарле, готовящего себе скромный завтрак и даже просто кипятящим воду для чая, я, откровенно говоря, не могу. Следуя привычкам Серебряного века и своих последующих разъездов по Европе, он пользовался услугами соответствующих заведений, которые у большевиков стали именоваться «общепитом» или «системой общепита». Тарле рассказывал мне, что в те годы он предпочитал обедать в ресторане «Прага». Расположенный неподалеку от тогдашних университетских корпусов, этот ресторан в обеденное время становился своего рода профессорской столовой, где можно было встретить и нужных, и интересных людей и приятно провести время, и где, естественно, было полно соглядатаев и стукачей (в том числе, конечно, и среди профессоров). Тарле, пока его не одолели болезни, был не прочь и выпить рюмку-другую в приятной компании. Так он стал «кутилой», о чем, вероятно, был извещен и «вождь». Отголосок этой «секретной информации» прозвучал и в одном из анекдотов посмертной «сталинианы», в котором «вождь», принимая Тарле на ближней даче, пробует по своему обыкновению споить гостя (как «правду» это рассказывал большой любитель мистификаций, друг Тарле Евгений Ланн). Возможно, и такое было, и, если позволяло здоровье. Тарле мог и поддержать компанию. Все-таки в те годы ему еще было только чуть за шестьдесят, и лишь лет через десять все переменилось: вспоминая о том, как его в сороковых принимали флотские офицеры в Севастополе, он сказал мне:

— Представляешь, там каждое гостевое место за огромным столом фиксировалось граненым стаканом, заранее наполненным водкой до отказа — с мениском. Я, увы, мог только обмочить губы!

В порядке отступления от основной темы этого очерка — несколько слов о серии анекдотов, образующих «сталиниану». Такое наследие в истории человечества имеет в том или ином объеме всякая незаурядная или экстравагантная публичная личность, а в Сталине и незаурядности, и экстравагантности было в избытке. История знает и такой случай, когда собрание высказываний и рассказов о поведении исторического лица в разных житейских и духовных ситуациях стало священной Книгой. Я имею в виду

Сунну пророка Мухаммада. Внимательным читателем Сунны был Лев Толстой, поручивший отобрать наиболее яркие всечеловеческие речения Пророка для одного из своих изданий, посвященных нравственному воспитанию людей. Микроновеллы, составляющие Сунну и именуемые «хадисами», отличаются от анекдотов, входящих в «сталиниану», «лениниану», «наполеониану» и т. п., не только более уважительным и серьезным отношением к тому, кого они описывают, но и степенью своей документальности, так как любой хадис состоит из самого предания, восходящего к Пророку, и из указаний на цепь передатчиков этого предания («иснад»), подтверждающую его достоверность. В анекдотах «сталинианы» «иснад», к сожалению, отсутствует, но все-таки, надо полагать, ни один из них не возник на пустом месте и имеет в своей основе какое-нибудь реальное происшествие, высказывание или ситуацию, информация о которых «дополнена», «исправлена» и расцвечена несколькими поколениями рассказчиков. И поэтому рассказ о совместной выпивке «вождя» и историка в подмосковном дачном уединении, скорее всего, не есть плод чьей-нибудь фантазии, хотя бы потому, что придумать такое, не зная о существовании личных взаимоотношений Сталина и Тарле, невозможно.

А потом была война. Сталин оставался в Москве, Тарле вместе с большей частью действительных членов Академии наук был эвакуирован в Казань. Но усидеть в Казани он не мог и почти непрерывно разъезжал с лекциями по воюющей стране, успевая при этом публиковать в газетах и журналах десятки патриотических статей, биографических очерков, посвященных выдающимся русским военачальникам. Все это совмещалось с серьезной работой над второй книгой монографии о Крымской войне (опубликованной в 1943 г.) и над отдельными главами очередных томов «Истории дипломатии». Никакие «хванчкара» и «киндзмараули» были в 1941—1943 годах невозможны, но в 44-м Тарле уже видят в столицах, и опять те, кто с ним общаются, замечают, что ему «каким-то образом» становятся известны идеи и взгляды Сталина. Правда, в 44—45 годах Тарле иногда позволяет себе говорить о том, как видят те или иные события «те, кто делают историю», а в Советском Союзе «делал историю», как известно, лишь один человек. И этот «делающий историю» человек в эти же годы тоже иногда ссылается на «мнение Тарле». Эти случаи фиксируются внимательными наблюдателями, и у них возникает впечатление, что Тарле являлся тогда «негласным советником» «вождя». (Некоторые из таких «наблюдателей» — Н. Хрущев,

американский историк Г. Солсбери уже упоминались в биографических очерках, посвященных Тарле.)

Это, однако, не спасало Тарле от мелких неприятностей. Его, подмеченная Берией «патологическая лень», оберегавшая его от каких бы то ни было поползновений в части администрирования, позволила «птенцам гнезда Покровского» перегруппироваться и занять «ключевые административные посты в исторической науке». Для нормальных людей эта фраза выглядит абракадаброй, поскольку им трудно себе представить создание при Госдепартаменте или каком-нибудь европейском демократическом кабинете министров чисто геббельского учреждения по управлению историческими знаниями, каким был, например, Институт истории Академии наук СССР. В начале сороковых в числе руководителей этого института в роли заместителя директора находилась верная ученица Покровского — Анна Панкратова, и началась охота на Тарле. Когда я знакомился с материалами «Дискуссий» 44-го года, у меня создалось впечатление, что всю эту околоисторическую шушеру — так называемых «советских историков» — бесил сам факт существования Тарле. Казалось бы, что такого? Ну говорит семидесятилетний старик свою правду о том, что одним из самых главных факторов победы над Германией была фактор пространства, полученного в наследство от Российской империи — кому от этого тепло или холодно? Нет, вся эта свора хочет заставить его признать публично, что залог победы был в «руководящей роли советской власти». Писали бы об этом в своих учебниках, никто им не мешал, а им хотелось, чтобы осведомленный разумный человек, знавший о том, что именно от этой «советской власти» бежали более трех миллионов красноармейцев, сдавшихся в плен в первые месяцы войны, а еще более миллиона человек пошли в услужение к оккупантам, надеясь на «благотворный новый порядок», вдруг стал бы восхвалять этот бесчеловечный режим. Тарле проще было признать «заслуги» советской власти по умолчанию.

Заодно эта «ученая» камарилья трепала и «Крымскую войну», к которой «приложились» и тупой беспартийный Н. Дружинин, и бойкий партайгеноссе Н. Яковлев. Этот «видный партийный публицист» в 1945 г. на страницах «ведущего партийного журнала» «Большевик» заклеймил труд Тарле как имеющий «крупные недостатки». (Я не раз пытался выяснить, не тот ли это «Н. Яковлев», который за свои «разоблачения» американских и сионистских «происков» заработал оплеуху от Андрея Дмитриевича Сахарова. Если это так, то такой финал закономерен, но бить негодяя

следовало все-таки раньше — эффект был бы более существенным). Все эти комариные укусы раздражали Тарле, и он обратился к руководящим «товарищам» с просьбой административным путем как-то навести порядок в «советской» исторической науке. Обращаться напрямую к Сталину с такой мелкой просьбой он не стал, и 22.08.1944 г. написал письмо В. Потемкину, занимавшему в то время пост министра («народного комиссара») просвещения Российской Федерации:

«Буду откровенен: ведь положение катастрофическое на нашем фронте! Ведь все эти птенцы гнезда Покровского опять взяли засилье, опять ведут кипучую пропаганду (имеющую в своих выводах решительно антипатриотический характер), опять терроризируют ученую молодежь и увы! отпора им не дается...

Вот скоро мир. Ведь нам, историкам, имеющим ученое имя на Западе и голос в мировой науке, нужно выступать, нужно повести обширную идейную борьбу против воцарившейся в тамошней науке гитлеровщины и квислинговщины, нам нужно авторитетно бороться за настоящую марксистскую мысль в историографии, а с чем и где мы появимся? С тов. Сидоровым? С тов. Волиным? Этого маловато, на Европу и Америку не хватит. И где появимся? В «Историческом журнале», где историей почти и не пахнет? Без вмешательства Вашего, тов. Молотова,— Иосифа Виссарионовича со временем — дело никак не обойдется, потому что о выступлении 1934 г. все эти эпигоны и последыши Покровского постарались уже забыть». (Тарле имел в виду постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании гражданской истории, в подготовке которого он принимал негласное участие.) Дошел ли до Сталина этот «сигнал» Тарле — неизвестно. Приближалось время его мирового триумфа, и вершин Гималаев, где «вождь» тогда находился, не достигал шум, производимый всякой земной мелюзгой, копошащейся где-то там внизу. Сам же Тарле получил некий косвенный ответ, компенсирующий пережитые неприятности: орден Ленина (1944), два ордена Трудового Красного Знамени (1945) и Сталинскую премию I степени (1946), а Панкратова была изгнана из руководящего состава Института истории за бабскую болтливость.

Следует отметить, что к «наказанию», постигшему Панкратову, Тарле не был причастен. Он боролся «за идею», а не против конкретных личностей. И если он иронически поминал Сидорова и Волина в письме к Потемкину, то только потому, что и ему, и его адресату был хорошо известен научный уровень этих «историков». Он уважительно ответил на критику Н. Дружинина по

адресу «Крымской войны». Правда, его ответ был уважительным лишь по форме. По сути же его можно было квалифицировать как издевательский, поскольку при его внимательном прочтении некомпетентность и безграмотность Дружинина становились очевидными. Дружинин же, как и следовало ожидать, не понял и снова полез в бой, но для Тарле это было слишком, и второй выпад «историка» он оставил без ответа, посчитав, что и так всё ясно. В личном плане Тарле хорошо относился к Панкратовой, которую он называл Аннушкой. «Аннушка-умница»,— такую ее характеристику я слышал от него не раз. Более сдержан он был в отношении другой ученицы Покровского — Нечкиной. «А, Милица»,— пробормотал он в ответ на мой вопрос об этой даме и заговорил... о «геморроях», к которым он относил тех, кто «делает науку» задницей, сиречь — усидчивостью.

Этот разговор на «геморройную» тему слышала тетушка Леля, и когда Тарле вышел из комнаты, сказала мне, что к этому термину я имею некоторое отношение. Оказалось, что когда она и Тарле собирались в конце XIX в. в первую поездку во Францию, моя бабка Лиза сказала мужу, что они стеснены в средствах и хорошо было бы им помочь деньгами. При этом она всячески расхваливала брата как подающего надежды ученого, едущего не гулять, а для архивных занятий. Выслушав ее, мой дед, энергичный инженер и заводчик, вздохнул и сказал: «Ну что ж, значит, в нашей семье одним геморроем будет больше». Помощь была оказана, а спустя некоторое время Лиза передала Тарле реплику мужа. Тарле поначалу обиделся, но потом решил, что эти слова к нему не могут относиться: он был живым, легким на подъем, быстрым в работе на всех ее стадиях. Таким он был до последних дней, не обращая внимания на терзавшие его болезни. Чего стоит, например, его поездка в Будапешт за год до своего восьмидесятилетия? Естественно, что ему были приятны люди его склада, с искрой Божией в душе, даже если они не были его единомышленниками, и им, а не «мученикам пера» он отдавал предпочтение. Что-то такое, по-видимому, было и в бывшей левой эсерке Панкратовой, возбуждавшей его интерес и симпатию.

Год 1947-й, вероятно, внес некоторое беспокойство в душу Тарле. Вроде бы ничего не изменилось в его жизни. Ну, не пустили в 46-м в Норвегию, зато год спустя была Чехословакия — первая заграничная поездка после тюрьмы и ссылки. Тетушка Леля была в восторге от Праги. «Это просто Париж»,— повторяла она. По-прежнему журналы и газеты просят и безотказно печатают его статьи. И все же он чувствует ветер перемен. Плохих перемен.

Речь Черчилля в Фултоне, потом непомерно раздутое идеологическое «дело» о ленинградских журналах с шумным шельмованием двух имен писателей, присутствия которых Тарле до этого в литературе даже не замечал. Он вчитывался в «Приключения обезьяны» и не мог понять, чем опасен этот рассказ. Может быть, потому не мог понять, что ему был незнаком быт того мира, в котором странствовала обезьяна, а большинству «советского народа» этот быт был хорошо знаком. Тем не менее Тарле ощущал, что время начала новой охоты на «ведьм», среди которых мог оказаться любой, неотвратимо приближается. А к этому новому времени он не был готов. потому что он теперь никоим образом не мог узнать мысли и намерения Сталина. «Вождь» вроде бы больше в общении с ним не нуждался. Не имея такой информации, нельзя было ни выработать линию поведения, ни оценить последствия назревающих «процессов». И Тарле решается напомнить о себе.

Люди, знавшие о том, что они, обратив на себя внимания «вождя», как бы получили от него в долг и благоденствие и даже жизнь, вероятно, всегда чувствовали себя его должниками. А долг, как известно, платежом красен. Конечно, долг свой такие «должники» не всегда пытались вернуть «вождю» без задней мысли. Алексей Толстой, например, с помощью мертворожденной повести «Хлеб» решал свои материальные проблемы. Впрочем, злые литературные языки утверждали, что этой повестью «красный граф» заодно и прикрылся от угрожавшего ему ареста. В любом случае его затея удалась. Значительно хуже всё сложилось у Михаила Булгакова: когда он с помощью пьесы «Батум» о молодом Сталине захотел выплыть из литературного небытия, «вождь» мягко и даже нежно разрушил его планы, сказав одну из своих знаменитых фраз о том, что «все молодые люди похожи друг на друга» и писать о «молодом Сталине» не стоит, лучше — о зрелом. (Впрочем, Л. Е. Белозерская говорила мне, что Булгаков мог пойти на эту авантюру под нажимом Елены Сергеевны, которой хотелось блистать в советском «литературном обществе». В общем, «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!», как отец Федор.) Тарле, естественно, тоже ощущал себя «должником» Сталина. Он, следуя тогдашней публицистической традиции, поминал его имя в предисловиях своих книг, в газетных и журнальных статьях. («Традиция» эта была настолько всесильной, что ссылки на Сталина я встречал в предисловиях к математическим и техническим книгам, изданным до 1953 года.) Но своего «Хлеба» или своего «Батума», где «вождь» присутствовал бы не в преамбуле, а в самой сердцевине повествования, у

Тарле долгое время не было, и только в 44-м году, во время своих борений с неопокровскианцами он сочинил опус над названием «Об исторических высказываниях товарища Сталина».

Тарле очень любил исторические анекдоты, моделирующие ситуации, которых в действительности не могло быть. Среди них был такой: король-солнце Людовик XIV как-то написал стихи и решил показать их Буало. Тот прочитал их и будто бы сказал: «Завидую вам, Ваше Величество! Вам все удается! Вот захотели написать плохие стихи, и получилось!»

«Сталинская» статья Тарле свидетельствует о том, что историку тоже всё удавалось: плохим оказалось это сочинение, будто не он сам его писал. В этом может убедиться каждый, положив рядом «Исторические высказывания» и, например, его же краткий, но блистательный исторический очерк «Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 г.». Первым впечатлением внимательного читателя будет сомнение в том, что эти вещи принадлежат одному автору. Возможно, Тарле мешала тень живого Сталина, где-то рядом попыхивавшего своей непременной трубкой.

К слову о «незримом присутствии» Сталина за плечом у Тарле, писавшего эту статью, отметим, что в ее тексте содержится скрытое упоминание об одной из встреч историка с «вождем»: «...когда вышел в русском переводе Плутарх, я подумал, что самому Сталину это издание не нужно: Плутарха он читает в греческом подлиннике, как это *случайно стало мне известно.* (Хорошо учили в Тифлисской семинарии, да и память у «вождя» была дай Бог каждому!)

Тарле, естественно, и сам ощущал неполноценность этого своего труда и потому печатать его не собирался, а лишь пугал им своих оппонентов, типа: «Вот я опубликую написанное, тогда вы у меня другое запоете!» Но в безвременье 47-го года он, видимо, решил этой статьей напомнить о себе и, достав ее «из стола», направил для публикации в «партийной печати». Он, надо полагать, предвидел, что она не будет напечатана, однако был уверен, что Сталин о ее появлении будет извещен. Статья попала к новоиспеченному «академику-филозопу» Г. Ф. Александрову, который в 47-м, прежде чем уйти на академический покой и сосредоточиться на ставших известными всей стране сексуальных развлечениях с актрисулями, дорабатывал последний год своей государственной службы на ответственном посту начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в народе прозванном «Александровским централом». Александров, как и ожидал Тарле, не взял на себя ответственность отклонить статью

(чем черт не шутит, может, у этого Тарле «каким-то образом» всё заранее согласовано с «вождем»!) и направил ее в Кремль с запиской на имя Поскребышева, содержащей отрицательный отзыв, да еще и указав на совершенно недопустимую крамолу: оказывается, что «академик Тарле сравнивает пропаганду Геббельса с ошибками Энгельса». Конечно, какое-либо сопоставление романтика нацизма с одним из основоположников марксизма могло рассматриваться как преступная дерзость!

Расчет Тарле оказался правильным: несмотря на то, что речь в статье шла о зрелом, умном и эрудированном «вожде», Сталин ее публикацию не разрешил, но о Тарле действительно вспомнил. Прежде чем перейти к последствиям этой «акции» историка, хочу обратиться к советскому народному творчеству и привести здесь текст и мораль краткой прозаической басни, содержащей житейские рекомендации, призванные регламентировать жизнь и поведение простого советского человека. При этом прошу меня извинить за грубость формулировок (хотя говорят, что язык этих формулировок давно стал обиходным в детских учреждениях нашего времени):

«В районе полюса холода летел воробей и, не выдержав мороза, упал камнем на землю.

Вскоре прошла там корова и уронила на замерзшего воробья свою лепешку.

От сохранившегося в этой лепешке тепла воробей ожил и чирикнул.

А в это время мимо пробегала кошка. Услыхав чириканье воробья, она вытащила его из лепешки и съела.

Мораль:

1. Не всякий тебе враг, кто тебя обосрет.

2. Не всякий тебе друг, кто тебя из говна вытащит.

3. Сидишь в говне, так не чирикай».

Тарле пренебрег этой народной мудростью и позволил себе «чирикнуть». Это «чириканье» стало началом последнего и не очень приятного для историка этапа его взаимоотношений с «вождем». Впрочем, всё относительно, пути Господни неисповедимы, и никому не дано знать, как сложилась бы его судьба, не попади в руки Сталина эта статья.

Итак, Сталин «вспомнил» о Тарле и, спустя немного времени, уже в следующем, 48-м, году поведал неким «заинтересованным лицам», какую мзду он хотел бы получить от историка в качестве благодарности за свое многолетнее доброе к нему отношение. Это должна была быть книга о трех нашествиях на Россию

(в XVIII, XIX и XX веках), закончившихся разгромом агрессоров, и Сталин, таким образом, оказался бы в приличной компании с Петром Великим и М. Кутузовым.

Отметим, что при остром желании последние, панегирические, страницы неопубликованной «сталинской» статьи Тарле можно было истолковать как заявку на книгу о Великой Отечественной войне и об определяющей роли Сталина в победе России, и не исключено, что Тарле этими страницами сам спровоцировал «вождя» на такой опасный заказ: зачем статья, когда можно получить солидную книгу. Впрочем, батоно Лаврентий изначально не верил, что такая книга вообще возможна. Серго Берия вспоминает о разговоре с отцом в 30-х годах: когда он спросил его, почему чисто советские исторические книги так скучны, «он разразился смехом и позвал на помощь мою мать.

— Скажи,— продолжал он, смеясь,— что я должен ему ответить? Каким образом можем мы изобразить Иосифа Виссарионовича пером Тарле, описавшего Наполеона?»

Прав был Берия: это действительно оказалось невозможным, но сие выяснилось позднее.

Из первоначальной заявки Сталина неясно, имел ли «вождь» в виду одну большую книгу, где все будет собрано и его портрет займет свое законное место среди вышеназванных деятелей, либо это будет своего рода серия книг.

Приняв заказ (а не принять его, естественно, не было никакой возможности), Тарле воспользовался этой неясностью и сразу же истолковал его как поручение написать не одну книгу, а три капитальных тома — по одному на каждого агрессора в исторической последовательности. Не знаю, имелась ли у посредников обратная связь с главным Заказчиком, но взгляд Тарле на трехчастную структуру будущей работы каким-то образом утвердился. Правда, как потом в семейном кругу рассказывал Тарле, с самого начала посредники горячо советовали сразу взяться за третий том — о разгроме гитлеровской Германии, закончить его на радость «вождю» и спокойно заниматься остальными частями трилогии. В этих рекомендациях не было категорической настойчивости, и Тарле остался на своих позициях, убеждая оппонентов, что работа над «шведским» и «наполеоновским» томами поможет ему выявить новые яркие параллели к событиям 1941—1945 гг., хотя в своей «сталинской» статье он сам писал: «Сталин не очень любил (а вернее — вовсе не любил) исторические параллели: они, по его справедливому мнению, всегда рискованны» (скрытая цитата из беседы Сталина с Эмилем Людвигом).

Итак, Тарле стал работать над первым томом трилогии, который он назвал: «Северная война и шведское нашествие на Россию». Вторая часть этого длинного названия была призвана напоминать о том, что выполняется сталинский заказ. Писалось легко, потому что материалов по петровской эпохе у него было много — остались от работы над темой «Русский флот и внешняя политика Петра I», которая легко вписывалась в историю шведского нашествия. Тарле, однако, растягивал удовольствие: за месяц-другой он изучил шведский язык (в 74 года!) и стал работать со скандинавскими источниками. Браться за третий том трилогии ему очень не хотелось, и он всячески оттягивал момент, когда даже формальных причин для задержки в выполнении этой части заказа у него больше не будет. Не могу сказать, на что он надеялся. Возможно, до него доходили слухи об ухудшении здоровья Сталина, который к этому времени перенес микроинсульт, возможно, он чувствовал, что и его собственная жизнь на исходе и нужно было как-то продержаться.

Вряд ли Сталин лично следил за тем, как Тарле выполняет его поручение. Не до того ему было в конце 40-х. Но холуи не дремали и вскоре дали о себе знать. Усиление грязной возни вокруг Тарле связано с возвышением Суслова в партийной иерархии того времени. Отличившись в деле подготовки 70-летия «вождя», этот деятель получил в свое ведение газету «Правда» и стал претендовать на место главного идеолога советской империи. О Суслове я всегда говорю и пишу весьма резко, но в этой моей резкости нет ничего личного, лишь констатация фактов, свидетельствующих о том, что этот индивидуум был законченным персонажем оруэлловского «Скотного двора». Лично же я высоко ценю Михаила Андреича и храню о нем самую добрую память. Думая о нем, я всегда вспоминаю слова «вечно живого» Ильича, сказанные им над гробом Свердлова: «Мы хороним пролетарского вождя, который более всех нас сделал для нашей победы». Цитирую по памяти, так как, в отличие от т. Суслова, картотеки ленинских цитат под рукой не имею. Так вот, т. Суслов с его любимой картотекой и есть для меня — «пролетарский вождь», который более всех прочих его соратников-геронтократов сделал полезного для краха империи Зла, а его молодые помощники — «филозопы» и «политики», перечислявшие потом в мемуарах свои «заслуги» в «смягчении идеологического давления», при жизни этого «гиганта советской мысли» как шаловливые дети лишь мешали «папеньке» сокрушать своими деяниями уродливый режим и продлевали его агонию.

Но возвратимся в печальной памяти 49-й год, когда Тарле начал ощущать *организованное* давление властей, мешавшее ему жить и работать. Эта ситуация довольно подробно описана в различных посвященных Тарле биографических очерках (см. например: И. Лосиевский. «Еще одно возвращение Наполеона Бонапарта», в книге: Е. В. Тарле. Наполеон. Талейран.— М.: Изографус—Эксмо, 2003.— С. 648—701). Поэтому здесь лишь конспективно будет изложена последовательность событий:

1949 г.

Грязная возня в Академии наук вокруг доклада Тарле на сессии, посвященной 240-летию Полтавской битвы, закончившаяся его письмом вице-президенту этого заведения В. П. Волгину, в котором он в интеллигентной форме посылал и Академию, и ее «сессию» к чертям собачьим.

***

Упоминание Тарле в постановлении Секретариата ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе Института истории АН СССР» в числе критикуемых историков (секретарь ЦК — Суслов).

***

Приостановка выполнения издательского договора по «Северной войне».

Всё это происходит на фоне разворачивающейся чисто националистической акции по борьбе с «безродными космополитами», которую Тарле в частной переписке отнес к пакостям, не совместимым с элементарной порядочностью.

1950 г.

Полный отказ издательства от выполнения договорных обязательств по «Северной войне».

***

Тарле посылает Сталину рукопись «Северной войны». В сопроводительном письме Тарле пишет, что он хотел бы, чтобы Сталин познакомился с этой книгой «в неискаженном виде», так как издательство ее задерживает и портит «текст своими придирками». Кроме того, он высказывает опасение, что может не дожить

до выполнения заказа «вождя» в полном объеме. «Но я хочу посвятить оставшееся мне время жизни этой попытке,— а мне уже 75 лет. Я буду

1951 г.

Сталин дает разрешение на публикацию в «Большевике» статьи малограмотного «историка»-самоучки Кожухова (есть области человеческого знания и деятельности, в которых каждый, а особенно — необразованный — человек считает себя специалистом. Это — архитектура, строительство, медицина, лингвистика, литературоведение и, конечно, история). Кожухов, работавший директором Бородинского музея, и прежде лез в ЦК с предложениями своих услуг по борьбе за марксистский подход к 1812 году и с жалобами на то, что Институт истории его игнорирует и не печатает его бредовую книгу. Очередной приступ шизофрении пришелся на весну (время обострений!) и его опус попался на глаза сталинскому зятьку Ю. Жданову, заведующему отделом науки и вузов ЦК ВКП(б), сыну партийного культуртрегера. Тот сварганил из попавшей к нему в руки исторической половы нечто, как ему показалось, удобоваримое и подсунул это фуфло Суслову. Суслов доложил на Секретариате ЦК и организовал решение о публикации после некоторой профессиональной доработки. Биографы Тарле пока не смогли установить, кто из профессиональных историков взял на себя труд по приведению этого позорного текста хоть в какой-нибудь божеский вид. Пребывая в области предположений, я могу предложить свою версию ответа на этот вопрос: не исключаю, что это —верная ученица Покровского *Милица Васильевна Нечкина*, тогда член-корреспондент Академии наук СССР и «признанный специалист» по истории России в первой четверти XIX в. Мое предположение основано однако не на ее «узкой специализации», а на ее предисловии к VII тому сочинений Тарле, редактором которого она значилась, вышедшему в 1959 г., когда уже не было видно никакого Ю. Жданова, а Суслик стушевался и притих, ожидая развития событий. В этом предисловии есть фраза «Позднейшая критика его (Тарле.— *Л. Я.*) работ (1951) указывала на их недостатки». Только абсолютный идиот мог бы возвести шизофренические изыскания Кожухова в ранг научной критики. Я недостаточно знаком с трудами М. В. Нечкиной и не могу оценить ее профессиональный

уровень и уровень ее интеллекта, но ее упомянутое «Предисловие редактора» содержит также весьма подозрительное для специалиста-историка «предсказание» читательской судьбы книг Тарле «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию»:

«Выход в свет указанных работ Е. В. Тарле явился *в свое время* значительным событием советской исторической науки, и правильно оценить их можно *лишь с историографических позиций*».

Эту «свежую мысль» М. В. Нечкиной можно воспринимать двояко: либо мы имеем дело с абсолютно некомпетентным в области исторической науки человеком, либо с человеком с гипертрофированным самомнением (Нечкина за год до своего «Предисловия» стала действительным членом Академии наук и могла решить, что это звание уравняло ее с покойным историком. Правда, оставалась одна досадная мелочь — необходимость дарования, предоставляемого Всевышним по Своему выбору, а не по «решению партии и правительства»). Время, однако, решило всё по-своему, и теперь легко можно представить себе такую сцену: сегодня, в 2009 году, молодой человек покупает в московском или питерском книжном магазине очередное (бог уж знает какое по счету) издание «Наполеона» или «Нашествия», а какой-нибудь лысо-седой старик, вроде меня, скажет ему: «Знаете ли, сударь, что ровно пятьдесят лет назад мадам Нечкина спровадила эту книгу, что вы купили, в небытие?» Уверен, что ответ будет звучать так: «А кто такая мадам Нечкина?» (я не претендую на авторство этой последней вопросительной фразы, так как услышал ее, правда, относящейся к другому лицу, в одной из телепередач из уст В. В. Путина).

***

Тарле пишет Суслову по поводу публикации в «Большевике». Ответа нет.

***

В «возмущенных происками безродных космополитов» университетских собраниях начинают поминать имя Тарле.

***

Тарле пишет «Письмо в редакцию» «Большевика» и посылает его с сопроводительным письмом Сталину 22 сентября 1951 г. Сталин пишет резолюцию на «Письме в редакцию»: «м.<ожно> б.<удет> напечатать» и далее «рассмотреть в редколлегии. Срок — 2—3 дня».

В качестве отвечающих за подготовку публикации Сталин указал Ю. Жданова и ответственного секретаря редакции журнала. Письмо Тарле было опубликовано в октябре («Большевик», №

19, 1951) в сопровождении редакционного комментария, в котором пережевывались азы публикации, вышедшей четырьмя номерами ранее под именем Кожухова.

1952 г.

В прессе куражатся, издевательски поминая Тарле, новые «специалисты» по 1812 г. Особо усердствовал «военный историк» Жилин, стремившийся своим шумом и яростью прикрыть собственную бездарность. Тарле, по его словам, шел на поводу у «иностранных фальсификаторов». Одну из «разоблачительных» сцен вспомнил писатель Ю. Давыдов в уже упоминавшемся своем романе: «Полковник из политического управления армии и флота напал, я помню, на академика Тарле. Тот написал: с присущим мол французам блеском и т. д. Полкаш и тявкнул, как Полкан: так значит русским блеск-то не присущ?! На таком вот уровне развивалась «критика», но Тарле знал, что за всем этим тявканьем стоит Суслов.

***

Тарле пишет и публикует большую статью «Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат».

***

29 июля 1952 г. Тарле пишет Суслову письмо-протест.

***

В августе Тарле пригласили в ЦК и заверили, что никакой кампании лично против него не ведется, что Жилин предупрежден и раскаялся.

***

Тарле узнает, что Кожухов отстранен от наполеоно-кутузовских дел и переведен куда-то в более далекую периферию.

Самым тяжелым «наказанием» для Тарле в описанном выше «процессе» было написание статьи «Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат», в которой он был вынужден не выходить за рамки «Ответа полковнику Разину». В этом «шедевре сталинской военно-исторической мысли», в частности, говорилось, что «Кутузов как полководец был бесспорно двумя головами выше Барклая де Толли», но еще «могут найтись в наше время люди», которые «с пеной у рта будут утверждать обратное».

Такой неразумный человек, как известно, нашелся задолго до сталинского предупреждения и высказал свои мысли по этому поводу изящно и без «пены у рта»:

О вождь несчастливый! суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...

(А. Пушкин)

Тарле не мог относить себя к «черни дикой», к которой так легко примкнул Сталин. Как и всякий здравомыслящий человек, хотя бы для себя не корректирующий прошлое в соответствии с потребностями текущей политики, тем более такой безнравственной, как искусственное культивирование национализма, Тарле не видел противостояния между инородцем Барклаем и русским Кутузовым. Первый был гениальным стратегом, разработавшим победоносный план разгрома агрессора, второй — гениальным тактиком, почти без нарушений реализовавшим этот план, дорабатывая его в деталях, как говорится, по месту. «Почти» сказано здесь потому, что нарушением плана была Бородинская битва, но Кутузов гениальным своим тактическим чутьем ощутил ее необходимость для обретения армией уверенности в своей боевой равноценности врагу. Принуждение отойти от того, что он считал истиной (если можно говорить об истине в истории), было для Тарле моральной травмой, и это был единственный итог его противостояния со сталинской системой в 1949—1952 гг. (Впрочем, и Пушкину пришлось пуститься в объяснения по поводу своих крамольных взглядов на героев войны 1812 года, но ему было легче, так как ЦК ВКП(б) в его времена еще не было.)

Биографы Тарле обычно сосредоточиваются на драматичности отдельных событий, объединенных приведенной выше хронологической канвой, забывая о том, что этими событиями не исчерпывается течение и содержание его жизни в указанные годы. Позволю себе очень кратко выйти за пределы описательного круга борений и страданий, чтобы читатель мог себе

представить, какой насыщенной была жизнь Тарле: 1949 г. 2 книги — одна в Воениздате, другая в Крымиздате; статьи в журналах «Большевик» (!), «Вопросы истории», «Вестник АН СССР», «Огонек», «Новое время», «Новый мир»; за рубежом — вышел «Талейран» на венгерском; статьи в газетах: «Литературная газета» (3 статьи), «Известия» (4 статьи); «Труд», «Вечерняя Москва», «Красный флот», статьи в республиканских газетах Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Латвии, Литвы, Эстонии, Туркмении.

1950 г.

Вручение ордена Ленина (третьего по счету, списки на этот орден просматривал Сталин). Выход книг: «Крымская война» (2-е издание, двухтомник), «Нахимов» (2-е издание); статьи в журналах: «Новый мир» (3 статьи), «Знамя», «Огонек» (4 статьи), «Вопросы истории», «Новое время», «Молодой большевик»; статьи в газетах «Правда» (3 статьи); «Известия» (2 статьи), «Труд» (7 статей), «Красная звезда» (2 статьи); «Литературная газета» (5 статей), «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Красный флот». Зарубежные издания: «Нашествие Наполеона на Россию» (Италия, Чехия, Франция); «Наполеон» (Польша, Чехия), «Талейран» (Германия, Венгрия, Румыния, Чехия), «История дипломатии» (Чехия), «Экономическая жизнь Италии» (Италия).

1951 г.

Выход 2-го издания книги «Жерминаль и прериаль»; статьи в журналах (кроме дискуссионной): «Большевик», № 1, «Новый мир» (2 статьи), «Новое время» (3 статьи), «Огонек», «Молодой большевик», «Вопросы истории»; статьи в газетах: «Правда», «Известия», «Труд» (4 статьи), «Литературная газета» (3 статьи), «Московская правда», «Вечерняя Москва»; статьи в республиканских газетах: Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Карелия, Латвия, Литва. Зарубежные издания: «Крымская война» (Чехия), «Наполеон» (Чехия), «Нашествие Наполеона на Россию» (Германия), «Адмирал Ушаков» (Чехия).

1952 г.

Статьи в журналах: «Вопросы истории», «Вопросы философии», «Новый мир», «Новое время» (3 статьи), «Военный вестник».

Статьи в газетах: «Труд», «Известия», «Пионерская правда», «Радянська Україна».

Зарубежные издания: «Нахимов» (Польша); «Крымская война» (2 тома, Румыния); «Почему Советский Союз борется за мир» (Австрия).

Шумиха вокруг сталинского заказа была неприятна, но она все же не таила смертельной опасности. Его интенсивная работа в прессе все эти годы и то, что ведущие издания страны всегда предоставляли ему место на своих страницах, свидетельствует о том, что никто его «закрывать» не собирался, а уменьшение количества публикаций в 1952 г. связано не с преследованиями, а с обострением старых болезней, в особенности диабета. Я общался с Тарле в эти годы и никакого страха, никакой растерянности в нем я не наблюдал: за ним оставались обе квартиры — в Москве и Питере, ему были доступны любые кафедры, все гонорары, кроме гонорара за «Северную войну», поступали к нему исправно, и все обслуживание, положенное академику, он получал исправно. Он, как всегда, проводил часть времени в Питере, а в Москве через МИД ему была доступна любая мировая пресса. Вот почему воспоминаниям А. Борщаговского о посещении им Тарле, скорее всего в 1951 году, я не очень верю:

«Я нашел не уверенного в себе, ироничного человека, обладавшего особой духовной силой, что угадывалось в его классических трудах. Точнее сказать, всё достойнейшее было при нем, прорываясь наружу: острота ума, сарказм, широта взглядов, но истязали его тревоги, обиды на оскорбительные статьи... И семидесятипятилетний академик (Тарле отметил свое 75-летие в 1950 г.— *Л. Я.*), по уму и памяти вовсе не старик, то и дело возвращался к чинимой над ним несправедливости». Далее Борщаговский сообщает, что Тарле при нем сам себя вслух уговаривал, что Сталин ему обязательно поможет. В этом рассказе есть только часть правды: дом Тарле был открыт для гонимых режимом. Тарле никогда не боялся таких «меченых» принимать у себя и по возможности старался им помочь. В мемуарах Борщаговского всё поменялось местами. Получалось, что это он, здоровый, сильный и процветающий, а не выгнанный отовсюду, пришел к несчастному академику, а тот что-то лепечет ему в своем бессилии. Но я недаром привел тарлевский «ВВП» 1951 года, когда перед ним, как и годами раньше и годом позже, были открыты все печатные издания, откуда выгнали Борщаговского. И «статей»-то обидных была всего одна, а совсем уж неправдоподобное в «свидетельстве» театрального критика и драматурга — это разговор Тарле о Сталине, который у него ни с кем, тем более — с незнакомым человеком, не мог состояться никогда и ни при каких условиях.

Когда я впервые прочитал воспоминания Борщаговского, я поделился своими впечатлениями с ныне покойной Викторией Тарле (племянницей Е. В.), находившейся вблизи историка все эти годы. Вот строки из ее ответного письма:

«Никогда (подчеркнуто ею) Евгений Викторович не жил в страхе. Все эти люди, которые так пишут, судят по себе, вот и всё. Он был далек от всех этих страхов, настолько он был увлечен своей работой. Всё остальное скользило мимо него».

В это же время встречались с Тарле уже упоминавшийся Ю. Давыдов, Э. Радзинский, рассказавший о посещении Тарле в Москве в одной из своих автобиографических миниатюр «Поход к Наполеону», Л. Белозерская-Булгакова — автор опубликованных воспоминаний о Тарле, и никто из них не заметил, чтобы его «истязали тревоги»!

«По-моему, он вообще был не из трусливых»,— говорится далее в письме Виктории Тарле, и это подтверждает его письмо С. Архангельскому — «черному» рецензенту диссертационной работы одной еврейки, которую измочалили в ВАКе. Тарле писал: «Я очень обрадовался, когда узнал, что работа на рецензию послана Вам, человеку, во-первых, добросовестному, во-вторых, знающему, в-третьих, не запуганному, как заяц». Это письмо датировано 5 августа 1952 г. (!) и оно явно написано человеком, «не запуганным, как заяц» и которого не «истязали тревоги».

Трагическая для многих осень 1952 г. (тогда погиб Соломон Лозовский, с которым Тарле интенсивно сотрудничал во время войны) для Тарле была спокойной. Прекратил свои козни Суслик. углубившийся в подготовку речи Сталина на будущем XIX съезде партии. С заданием «вождя» он не справился. Сталин выбросил все подготовленные им заготовки и в декабре 1952 г. «при людях» заявил Суслику: «Если вы не хотите работать, то можете уйти со своего поста». Как было принято на Скотном Дворе, Суслик немедленно отрапортовал, что будет работать везде, куда партия пошлет. «Посмотрим»,— мрачно сказал хозяин, но долго «смотреть» ему уже не пришлось: жизни-то оставалось с гулькин нос.

Тарле отдыхал от повышенного к себе внимания, когда грянул гром в виде ареста «убийц в белых халатах». Теперь-то Тарле был и встревожен, и расстроен, понимая, что ожидает арестованных и всю страну. По его мнению, в один день Сталин окончательно погубил свое реноме. Сохранилась запись свидетельства о датированном тринадцатым января 1953 года высказывании Тарле о Сталине: **«Зачем ему это понадобилось? Достигнуть такой славы и так испортить ее».** Этот «хадис» имеет свой «иснад»: известны, кто сказал, кто слушал и кому было передано услышанное для записи.

Год спустя все относительно успокоилось. Даже Суслик временно сдал свои идеологические позиции и где-то затаился до

лучших времен. И я спросил Тарле, кому из тандема «Ленин—Сталин» он отдает предпочтение как правителю России. Тарле, не задумываясь, ответил, что, конечно, Сталину, потому что на троне Ленин был игрок, а Сталин — работник. В слове «игрок» я не услышал осуждения. Это была всего лишь констатация факта. Я вспомнил азарт, охватывавший Тарле за шахматной доской, его неприятие «правильных» партий типа общеизвестной «испанской», его стремление к неизученным, рискованным ходам, заставлявшим меня — частого его соперника в этих партиях — задумываться, нет ли в них подвоха. И тогда я понял, что передо мной тоже сидит игрок, хотя и умеющий быть работником. Но прежде всего игрок — отважный и находчивый, потому что трус не может быть хорошим игроком. И тогда, 1954 году он, как игрок, был удовлетворен: он переиграл всех — и «вождя», и его сообщников. Он бы сыграл еще, уже с новыми игроками — игроки, достойные игры, всегда найдутся. Но уже не было у него ни сил, ни сроков, и ему, как и всякому смертному, предстояла последняя игра, заведомо проигранная. Оставалось лишь проиграть ее достойно, что он и исполнил.

По-разному оценивали роль и итоги двух «сталинских» десятилетий в долгой жизни Евгения Викторовича Тарле историки второй половины XX в. Писали, что Сталин его «сломал», что всё, что он написал после возвращения из ссылки, было «недостойно его ума и таланта» (помню эту фразу, но не помню ее автора. Впрочем, это не имеет значения, так как ее автор явно не был Маколеем, Мишле, Моммзеном или Ключевским). Эта фраза содержит в себе слишком явную попытку смешать Божий дар с яичницей. Тарле во все времена был публицистом, и таковым он оставался и после «академического дела». Публицист же партиен даже во времена, казалось бы, беспредельной свободы, когда он сам определяет, с кем ему по пути. И при внимательном прочтении статей и исторических очерков Тарле, опубликованных в 1900—1917 годах (до Октябрьского переворота), становится очевидным: в его текстах в той или иной степени отразились его симпатии сначала к кадетам, к которым принадлежали его учитель И. В. Лучицкий и друг Н. И. Кареев, а потом и к «умеренным» социал-демократам плехановского толка (в результате сближения с Г. В. Плехановым и его семьей). В тридцатые и позднейшие годы советская публицистика стала трафаретной. «Буржуазный историк» Тарле относился в то время к публицистам, которым было разрешено немного выходить за рамки шаблона, но недалеко. Поводок был коротким. Публицистика Тарле, затрагивающая

в сталинские годы проблемы текущей политики, и была той самой «яичницей», неприглядность которой историк пытался хоть чуть-чуть скрасить своим «умом и талантом». Иногда это ему удавалось, особенно во время Второй мировой войны, когда он был в рядах тех, к кому прислушивались у нас и на Западе.

Иначе обстояло дело с историческими трудами. После возвращения из ссылки были созданы «Наполеон», «Талейран», «Нашествие Наполеона на Россию», «Крымская война», «Северная война», «Русский флот и внешняя политика Петра I», еще три книги, посвященные истории русского флота, блестящий исторический портрет адмирала П. С. Нахимова, ряд крупных очерков по истории дипломатии. Незавершенной осталась монументальная монография о внешней политике Екатерины Второй. «Профессиональные» российские историки по-разному относятся к этой части научного наследия Тарле. Иногда можно прочитать, что эти работы «устарели», что со времени их написания по затрагиваемой ими тематике в «научный оборот» введено множество новых данных. Существуют в этих кругах и «ниспровергатели»: сочиняя что-нибудь на вышеперечисленные темы, они «забывают» даже упомянуть труды Тарле, чтобы читатель понял, что не какой-нибудь «древний» и «ненаучный» Тарле, а именно они являются первопроходцами и обладателями исторической истины.

Но удивительное дело: к различным юбилеям и годовщинам, а часто и «просто так», сейчас, более чем через полвека после ухода Тарле из жизни, издатели по собственной инициативе обращаются к перечисленным выше его трудам, и каждый год XXI века отмечен появлением на книжном рынке очередного переиздания какой-нибудь из тарлевских книг! Ну а его «ученые» критики и создатели позднейших исторических «шедевров» на эти же темы вместе со своими «шедеврами» прямиком отправляются в область забвения.

И что греха таить: все перечисленные книги могли быть написаны и прийти к людям **только** благодаря тому, что в 1934—1953 годы Тарле находился под личной опекой И. В. Сталина, создавшего ему, «чужому» по определению человеку и ученому, все необходимые условия для работы и оградившего его от посягательств своры беснующихся «партийных» псов на его благополучие и жизнь. Меня не очень радует такое резюме, но отрицать его не могу — истина дороже.

Вообще же, говоря об итогах чьих-либо жизней, не стоит напяливать на себя судейские мантии: мы в этих делах не только не

судьи, но даже и не присяжные заседатели, а всего лишь зрители, от которых скрыты и концы, и начала всего происходившего. Вот, например, Никита Хрущев был кровавым палачом в «мирные» сталинские времена, убившим и исковеркавшим жизни миллионов своих сограждан, потом — бездарным околовоенным деятелем, погубившим вместе с недоразвитым идиотом Тимошенко и трусливым Баграмяном миллионы солдат в незабываемом 1942 году. («Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе... которую пережил фронт и еще продолжает переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто» — из письма Сталина 26 июня 1942 г., содержащего убийственные оценки деятельности Тимошенко, Баграмяна и Хрущева — виновников «харьковского котла».) Однако, получив в конце своей карьеры всю полноту власти, он воспользовался ею, чтобы вернуть к нормальной жизни и восстановить доброе имя миллионов живых и мертвых жертв сталинских репрессий, одним из самым активных реализаторов которых в свое время был он сам, и чтобы искоренить позорные пережитки рабства в середине XX века, дал свободу миллионам крестьян в «стране победившего социализма», и чтобы предоставить скромное жилье со скромными удобствами миллионам людей, ютившимся до этого в бараках и в воспетых «совками» «коммунальных квартирах», уродующих личность человека. И вот, когда в Судный день он предстанет перед Высшим Судом, я не исключаю того, что сотворенное им благо в конечном счете перевесит все его самые тяжкие преступления, ибо неоднократно говорилось, что Добро даже размером и весом с горчичное семя дает мощные всходы, обеспечивающие ему победу над Злом.

Возможно, и «т-щу» Сталину в неотвратимый Судный день предстоит выискивать крохи Добра в, казалось бы, беспросветном мраке своей жизни (не мне его судить!), и тогда его роль в судьбе «т-ща» Тарле, безусловно, может стать одним из таких горчичных зерен, которые ему зачтутся.

2008–2009

Содержание

Літературно-художнє видання

Лео Яковлєв

ТОВАРИШ СТАЛІН:

роман з охоронними відомствами Його Імператорської Величності

Російською мовою

Керівник видавничих проектів та відповідальний за випуск
Голота С.А.
Розробка обкладинки та оформлення
Голота О.С.
Комп'ютерна верстка *Голота О.С.*

Підписано до друку 22.03.2010. Формат 84×108 1/32.
Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 11,13.
Наклад 500 прим.

«Видавництво САГА»
Україна, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, к. 5-33.
Тел.: (057) 719-52-88.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ДК №2555 від 11.07.2006 р.

Виготовлено у друкарні СПДФО Білетченко
8 (057) 758-35-98

Место,

отведенное для замечаний читателей,

прежде всего,

ортодоксальных марксистов,

последовательных ленинцев,

воинствующих сталинистов


Милостивый Государь
Алексѣй Федоровичъ!
Административно-высланный въ Туруханскій
Іосифъ Виссаріоновичъ Джугашвили-Сталинъ,
арестованъ въ 1906 году, далъ Начальнику Тифлис-
скаго Г.Ж.Управленія цѣнныя агентурныя
Въ 1908 году Н-къ Бакинскаго Охраннаго
получаетъ отъ Сталина рядъ свѣдѣній, а затѣмъ,
прибытіи Сталина въ Петербургъ, Сталинъ стано-
вится агентомъ Петербургскаго Охраннаго
ленія.
Работа Сталина отличалась точностью, но
отрывочная.

Лео Яковлев (род. в 1933 г.) — автор романов и повестей «Корректор» (Харьков, 1997); «Антон Чехов. Роман с евреями»* (Харьков, 2000); «Повесть о жизни Омара Хайяма»* (Нью-Йорк, 1998; Москва, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008); «Холокост и судьба человека» (Харьков, 2003); «Песнь о нибелунгах» — повествование в прозе (Москва, 2004); «Голубое и розовое, или Лекарство от импотенции»* (Харьков, 2004); «Гильгамеш» — повествование в прозе (Москва, 2005); «Победитель»* (Харьков, 2006); «Чёт и нечет»* (Харьков, 2008); **книг эссеистики**: «Штрихи к портретам и немного личных воспоминаний»* (Харьков, 2005); «Достоевский: призраки, фобии, химеры»* (Харьков, 2006); а **также автор-составитель книг:** «Суфии. Восхождение к истине»* (Москва, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009); «Афоризмы Патанджали» (Москва, 2001); «Библия и Коран»* (Москва, 2002); «У. Черчилль. Мускулы мира» (Москва, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009); «Поверия, суеверия и предрассудки русского народа» (Москва, 2003); «Марко Поло. О разнообразии мира» (Москва, 2005); «Книга апокрифов» (Москва, 2005, 2008).

Биограф Е. В. Тарле и публикатор его творческого наследия (Россия, Украина, Румыния, Китай, Болгария, 1981–2010).

Примечание. Звездочкой отмечены публикации, текст которых полностью или фрагментарно выложен на различных сайтах в Интернете.

ISBN 978-966-2918-89-2



САГА
издательство

ТОВАРИЩ СТАЛИН

Лео Яковлев

Лео Яковлев

ТОВАРИЩ СТАЛИН:

роман
с охранительными ведомствами
Его Императорского Величества